

П

орой Алене Тарасовне кажется: всего, что почувствовала, передумала, увидела, сколько поработала она на своем долгом веку, — а чего только на нем не перепадало! — могло бы с лихвой хватить на три человеческие судьбы. Ну, так не ею придумано: «Жизнь изжить — не лапоть сплести». Видать, так уж было на роду ее постном прописано — на тяжелых крылах пролетело ее времечко. Но путь свой старушка «сполнила сполна».

Теперь вот на девятом десятке, с которого точно не ошмыгнуться, — рукой подать до небушка, как ни вздыхай, как ни жалкуй, стремглав просыпая наземь за никчемностью все хотенья и желанья, словно из дырявого мешка картошку, покатались последние осколочки ее судьбинуски под крутую горку. Порой Алене кажется, что она прям-таки зримо чувствует, как жизнь с каждой минутой становится короче и короче, песочком проскальзывает сквозь шишкастые, работные ее пальцы.

Хоть и говорят, мол, нет в ней, в жизни этой, лучше времени, чем самый крайний, самый последний ее зимний срок, чтобы собраться с духом и наконец-таки приступить к забыванию всего, что томило и долгие годы вызнабливало душу, но вот же незадача: Аленина память, извечная эта мытарка, все еще супротивится — припоминает всяко-разно и при случае, и без. Цепляется, словно репей, за каждую, порой са-

мую малую вещицу, звук и запах — не усыпить ее, не оттащить от души остатники Алениными силенками.

И куда бы ни шло — днями, а то ведь и ночами напролет скребет, докапывается упрямец: мол, что да как, да когда то было, да по какому-такому случайному случаю? Ворошит и ворошит Аленино заскорузлое, а скажи: «Вот тебе другое, бери — пользуйся!» — ни за что не сменяет дедами переданное ей под пригляд мозолистое крестьянское житие с редкими, но по самую гробовую доску незабываемыми минутами радости.

И нет уже в деревушке никогошеньки, кто помнил бы Аленины цветастые годы, кто протопал когда-то с ней бок о бок в крестьянских заботах тысячи верст суглинистым маланическим проселком. Да-а, осыпаются лета, словно к Покрову облетает с березки последняя листва в ее задичавшем палисаде. И все шуршит, шепчется, бредит Аленина усталая, пропахшая вечностью, седая память.

А как ей не выбелиться, не ознобиться? Одна война треклятая сколько изморози и на волосы, и в душу Алены Тарасовны добавила! Да и на лице, поди, ни одной бороздой отпечаталась.

Были — как не быть? — после нее, распостылой, конечно, и радости. Но, видно, уж так опалила она сердце, так выстудила нутро, что даже великим бабьим счастьем — рождением детей — не случилось перекрыть ее окаянства.

Ничем-ничего не остыли с годами, горячи еще Аленины ладони от крови бабы Дарьи, закывшейся на ее руках. Не стерпела, кинулась родимая наперерез фашисту, закрыла собой двери в Зорюшкин хлев... Будто сейчас слышит Алена последние слова угасающей бабы Дарьи: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И поныне точат Алелу горькие мысли, першит еще в горле от гари Маланичей, выжженных дотла немцами при отступлении в августе сорок третьего.

Вот ведь кой десяток лет мирный мир на дворе, и хлеба вдосталь — ешь не хочу, а поди ж ты! Очнется Алелна ни с того ни с сего посередь ночи от жутчайшего страха, приблизится ей, что снова, как в оккупацию, зернышка ржаного в избе не сыскать: голуби на поветях — и те переловлены. Всунет она ноги в свои побитые «шашалом» бурки, потопает от кровати до столешни, укрытой толстым, словно веретей, настольником, откинет с краяхи рушник — и вроде поуспокоится, перестанет свербеть ее душечка: вот он, бесценный, тучочки!

Но только прикоснется Аленина головушка к подушке, тотчас, словно и не миновал, ворвется в ее сон, снова залютует октябрь сорок первого. И опять не станет от него спасу. Потому как до самого свету, словно наяву, со двора будет доноситься неистовый рев и плач ополоумевшей Зорьки, будут чудиться рыжие, волосатые, с закатанными рукавами гимнастерки, лапищи фрица, безжалостно свежующего разнесчастную «кормилицу».

Да... память... Куда она денется? Она всегда будет при Алелне, у которой нет ни сил, ни права на забвение. Как земля все еще хранит в себе тысячи ржавых осколков войны, так и Аленина память не может стереть из своих закоулков дни фашистской оккупации. Даже спустя десятки лет каждый раз содрогается Аленина душа от этих воспоминаний, словно проваливается она в бездонную пропасть и не может сыскать в себе силы, чтобы обрести хоть какой-то покой. Жизнь прошла с этой болью. Никуда не делась она и поныне.

Но по всему видно: скоро, скоро сольются все ее годы, дни и мгновения в одну тончайшую стремительную линию и вместе с последним выдохом душа ее укролит в непостижимые выси. Тогда-то, надо верить, и наступит наконец-таки долгожданное упокоение.

Вот и опять заскакали мысли. Алена уже и путаться начала, уже и не различает, где сон, где всколыхнутое памятью, занавешенное временем былое. Сколько раз тонула она во снах в вешнем разливе сорок второго, когда угоняли ее вместе с маланической молодежью в Германию. Очнувшись среди ночи, каждый раз корила себя Алена: мол, чтой-то ты, девка, выдумываешь? Плаваешь, рыба рыбой... Да и фридам, чай, жить-то хочется. Популяли тогда, конечно, вослед, не без этого, а кинуться в половодь — не кинулись. «Ну, я, — хихикает Алена, — не будь дура — нырь в самую пучину — пуцай попробуют выловить! Да-а... Так вот и убегла. У деда Макара потом в шейной яме ховалась».

А то еще причудится Алене, что не Маруся, подружка ее закадычная, весной сорок четвертого, когда под пшеницу Закрайнее поле копали, подорвалась на противотанковой мине, а она сама. Лежит будто она, бездыханная, на подsunутой под голову бригадиршиной фуфайке, бабы лопатки побросали, сгрудились вокруг, пластаются, ревмя ревут.

Да... повезло тогда Аленке, по счастливой случайности осколком лишь ногу задело. А Маруся так своему Митрию и не успела нарадоваться. «Вот ведь как бывает, — переговаривались тогда бабы, — он пол-Европы протопал, хочь без ноги, а все ж таки живым вернулся, а разнесчастную Марусю погибель, почитай, у родного порога сыскала».

Сколько раз умирала Алена, сколько раз воскресла в своих затуманенных воспоминаниях и снах — не перечесть. Но бывало, поотпустят мало-помалу тяжкие думки, и расцветут в темени ночей им на смену, к примеру, сирени сорок пятого. Следом полетит из Маланичей пестрыми Троицкими луговинами колхозный «воронок», помчит их с Васей в сельсовет, на роспись; а вот возвращаются они из райбольнички с первенцем Никиткой; вот он, уже чуток подросший, младшенького Андрейку учит кататься на велосипеде.

А потом как прорвутся, как примутся заполонять собой все сны, все закоулочки Алениной души то охажки васильков, собранные во ржах, по дороге с покосов; то заластится мягкой соскучившейся волной Маланический пруд; то осыплются Аленины сны веснушками спелого укропа на старой, отжившей все памерки, бахше; то вспыхнет ярчайшим воспоминанием подсолнечное поле у дальних росстаней.

Кого только не вспомнит Алена из своей предолгой жизни, кто только не придет к ней на беседу в ее старушечьих снах! То объявится, словно только что спустился с крыльца, дед ее Сила Леонтич, улыбнется в бороду, протянет вырезанную из ракитового сучка свистульку; то вдруг так ясно-ясно прислышится ей голос отца: «Эй, мальва! Кто хочет прокатиться до Сеножатного, на кулачки взглянуть? Запрыгивай в сани!»; то сжалится над Аленой память, подарит ей встречу с матерью — во-он колотит она пральником на омутке домотканые половики. Бежит, бежит к ней с горы Аленка, ног под собой не чует.

А потом уж и вовсе не станет предела Алениной душе, и полетит, полетит она в молодые, довоенные годы.

Мир тогда на десятки верст вокруг Маланичей, на удивление, в любое время года пах молодой тополиной листвой, дивными, далекими, но почти постижимыми звездами. И глаза у девчушки были не приведи Господь какие зоркие — все-то цепко схватывали, все-то до малой малости запоминали. Возьми понарошку память, попробуй теперь стереть те давние-предавние ярчайшие картинки, когда непередаваемым счастьем было сбежать утром с крыльца навстречу бесконечно-ну, полному радостей и хлопот деревенскому дню, — так и не сподобишься... разве такое забывается?!

Аленкина изба, поставленная еще в начале прошлого века дедом Силой Леонтичем Гурьевым на самом верхотурье Почуй-горы, сквозь сатиновые куколки палисадниковых мальв, сквозь заросшую глухой крапивой и диким терном изгородь всеми своими четырьмя прищуренными оконцами денно и ночью вглядывалась в заручейную сторону Маланичей и туда дальше, дальше: за золотой, подвязав заметеленный курослепом Коровий ложок, за захолустный, напрочь заполоненный бересклетом и крушинником лес. Кого она там высматривала, кого из той дали лазеровой поджидала? Одному Богу ведомо.

К левому боку гурьевского жилища, за теплое время обклеываемому от завалинки, почитай, до самых окон курами — любительницами известки, — то есть с прикрылечной стороны, за ореховой изгородкой притулилась бакша. Грядки как грядки, ничем особым не приметные.

Чтобы в студеную пору не бегать за каждой овощной малостью по соседям, чтоб «не страмиться», дядька Тарас и тетка Мария, Аленкины папка с мамкой, бывало, еще и снега по ложбинам не осядут, еще на вербах едва-едва проклюнутся «гусенятки», выходят на свой вытаянный на припечном взлобке огород. И ну на нем vorочать!

Покидают же его с первым снежком, считай, аж к Покрову, когда подходит черед в сенцах в большом дубовом корыте рубить капусту, приправлять ее собранной по подгорью анисом, натертой на большущей самодельной терке сладчайшей, рыжей, что твой огонь, морковью да четвертинками душистых антоновских яблок из старого барского сада. А потом сдобренную квашенку утаптывают в восьмиведерный бочонок. Это только на первый погляд посудец великоват — так ведь чтобы и себе досыта, и соседей, родичей, коли случится подходящий случай, попотчевать.

И речей не заводи в Маланичах об огороде-то, кабы не ручей Переплюйка, из которого во все века брали деревенские воду на полив. А змеился этот ручеюшка по подгорью, по самой что ни на есть подошве маланичской поймы.

В пору, когда Аленка только-только начинала осваивать простецкие житейские премудрости, о водопроводе в Маланичах и слышать не слыхивали. Этот самый Переплюйка был для них — не соврать, если сказать — рекой жизни: ну ни дать ни взять прям-таки что Волга для России.

А и то правда: для деревни, обустроившейся на двух крутых взгорьях над этим ручьем, водица всегда была на вес золота. Ну-ка попробуй взрасти на таком крутояре сады-огородины!

С молочных лет ребятишки здесь знали цену воде. А как не усвоить-то, коли каждый вечер мечешься вместе с родителями под гору, таскаешь ее на полив ли, на хозяйство из прогретого за день ручья. Кто похилей — бидонами, старшие — ведерками (пара на коромысле, да еще одно впристег, в руке).

В летнюю пору звень-ручеек этот со смешной, прямо сказать, неказистой кличкой — курочке по клювик; ранней же весной дикой воды в подгорье — море разливанное. С полей мимо Аленкиной избы, разомлев от солнца, сползало, подкашивая и унося за собой чернобыльник и всяческий сор, вешневодье. Иными годами потоки снеговой каши были настолько лихи, что выворачивали из Почуй-горы даже омшелые каменья. Зеленоватое крошево подступалось тютелька в тютельку к площадке, где Аленка, подымаясь из низов, обычно останавливалась с полными бидонами передохнуть. А это ни много ни мало, почитай, две трети горы — до маланичских улочек рукой подать.

Но глядишь, туда-сюда — а спустя пару недель Переплюй, нанизываясь на таль-

ники, все же вправлялся в исконное русло шириной в телегу. А там в нем по незапамятной своей привычке опять принимались жировать вымытые водоподем из торфяных прорв красноперки. Пролетьем — да и потом, до той поры как понесет он в Кромку скукоженную листву осокорей — местная ребятня таскала эту плодovitую рыбицу на ореховые удилица несчетно.

А уж пескарешек-то, желтопузых простачков, этих жирных, сладких глупышей не брал, шаря руками под склизкими валунками, за раз по паре только ленивый или, как шутили в Маланичах, с осени закормленный. Даже для девчонок, а какие из них рыбаки, всяк знает, так даже и для них дело это было самым плевым.

Добыток, нацепив на раковые прутья, поджаривали тут же на костре. Деревенской босоногой мелюзгой жареха эта почиталась за лакомство. Любила и Аленка, когда вырвется, бывало, от няньканья Лидушки с Николкой, поучаствовать в этой «пескариной облаве».

Правда, когда лето перевалило за макушку и над Маланичами уже почти навосе выплескивался липовый дух скошенных лугов, берега Переплюя опутывались духовитыми плетьюми дикого огурца. Оставляя на себе незатянутым лишь крохотный срединный прогалочек, ручей словно бледно-зеленоватыми бисеринками щедро осыпался дробной ряской и какой-то всяко-разной, тянущей свои лентовидные стебли с самого дна приводной муравистой хламидью. К этой поре пескарешки уже переставали идти на ребячьи уловки, не давались в их детские ладошки, разве что зазеваются какой заспанный, неповоротный. А в основном наловчались юрко, прям-таки стрелой шнырять под каменья, и деревенская детвора, теряя интерес, пускалась искать другие забавы.

2

Мир вокруг Маланичей — вроде и знакомый до каждой малой букашульки, но вместе с тем такой переменчивый, до перехвата дыханья каждый день новый, до замирания сердца таинственный. Так и зовет он, так и манит вверх по течению ручья за околицу, да хотя бы в тот же разлабый¹ сосновый бор, из которого словно неутерпимый восторг, словно самые что ни на есть соки земные пробивается на Божий свет память Аленкиного детства — этот с диковинным прозвищем ручей. Коли отпускала баба Дарья «от помочи по хозяйству на продах», Аленка бежала к Переплюю. И с каждым разом — все дальше и дальше от Маланичей, пробираясь зарослями кровохлебок и валериаников, натоптывая стежку в белоусах и тростниках, приближалась в поисках неведанного к сосняку, погруженному в свои тенистые, потаенные думы.

Из-под ног ее с комковатых прозелененных бугорков брызгали подкарауливавшие приводную мелкоту — комарика на обед, мушку на полдник — толстопузые лягухи. В суглинистых гнездах обрывистой кручи бранились по причине своего неуживчивого норова каждый раз с новыми соседями — аж пух и перья влет! — ласточки-береговушки. Худющие до страсти водомерки, словно жители какой-то нездешней земли, безо всякого резону кондыляли вдоль и поперек сомлевшего ручья, без труда перешагивая на тонюсеньких ходулях через вальжжных, толстопопых жуков-плавуновцов, тоже шлындравших туда-сюда по своим как пить дать съестным делам.

Местный завсегдатай — то ли престарелый, то ли напрочь беспамятный чибис — хоть давным-давно и признавал Аленку своею («Как есть — она! Вишь ты, опять на белесой головке венки из незабудок! И купальниц надрать успела, никак ей без них не обойтись — цельная охалка в руках!»), лишь завидит Аленку птиц этот

¹ Р а з л а б ы й — диалект. разлапистый.

настырный — каждый раз принимается, неутомонный, за старое, пристаёт с надоедлыми дурацкими вопросами: мол, чьи вы да чьи вы, по какой-такой надобности? Ай глаза ему застит? «Опять ты за свое, неотвязный? Да нашенские мы, толковала тебе вчера, как есть — маланичские! Откуда туточки иным-то взяться, безтолковый?» — отмахивалась девчонка.

«Фрр!» — случится, иной раз возмутится у тальников, раздвинув резун-траву, покажет из-под рясной кашицы мордочку прижившийся здесь с незапамятных времен и обзаведшийся несчетными сродственниками бобришко: мол, так, так, девонька, задай ему, заполошному, одолел своими вскриками вусмерть. И не успеет Аленка его, шубеистого, как следует разглядеть, поднырнет увалень под изумрудную кисею рясок — только его и видели.

Вообще-то в бор, стоящий лицом к деревне, испокон из Маланичей протоптана по среднегорью меж зарослей полыни и чернобыльника, чередующегося с ласковыми куртинками донника, гладенькая, чуть приметная стежка. По ней-то, конечно! По ней любой-каждый пройдет. А ты попробуй продерись по ложбинке, низовьем, где вода киснет даже в самую разжарищу, где и ступать-то боязно — место погибельное!

Карабкаешься, дерябаешься сквозь длиннющие, точь-в-точь как бабушкина пряжа, увешанные на солнышке лупастыми белыми да розовыми, а в притенье лиловыми граммофонцами нити повилик — из сил выбьешься. К тому ж там, куда они еще не успели дотягаться, свирепствуют дурманящие до головокружения своим ванильным духом кушобины вездесущего дикого огурца.

Зависая над подмытыми, шаткими и косыми берегами Переплюйки, вперемежку со всяческой настырной зеленой чумой, с закудрявистым, увешанным шуршащими легковесными гроздьями цеплючим хмелем наперебой с наглой шептун-травой, огурец этот образовывал порой совершенно непроходимые заслоны, в которых и облукаться — разчихнуть.

Бывало, выкарабкается пропахшая дикими цветами и травами, словно пчела, Аленка мало-мальски на просвет, поднимет глаза к пологой скуле Почуй-горы — и даже жмурко ей станет: ишь как раскрапило пышноцветьем этот не ведающий ни косы, ни плуга просторный склон! Лужицами плещутся поляны колокольцев, золотистым песочком рассыпаются вокруг них таволги-кашки. На курослеп от разливистых лучей его и смотреть нестерпим, уж так-то он жарок да шелковист! И небеса — Святая Приснодева Мария! — погожие, просторные-е, и пастбища на них — неоглядные! И солнце — цвета скороспелой штрифелины!

Из лета в лето сколько стоят на белом свете Маланичи, столько пасут на этом широком разнотравье деревенское стадо. И молоко здесь вкуснющее-е, шалфейником, душицей да тимьян-травой пахнет! Пьешь и не напиваешься.

Бабы управятся, с подойниками с тырла пойдут, так и в подгорье запах парного чутся. А коровки опять за свое: блудят сонно вдоль осыпанного кукушкиными слезками да луками-дикушками склона, опустили головы, лениво пощипывают травушку, шумно вздыхают; насытившись, распрямляются и стоят себе, переже-о-овывают. Выбив в пологом склоне Почуй-горы несколько тропок, по вечерней заре след в след они подымутся на проселок у самой околицы и, тягуче помукивая, разбредутся, точно их и не было, по дворам.

Проселок этот маланичский, окутанный сладким духом сенной трухи, обросший алыми шишкастыми татарницами, высоченными, сорными, случайно оброненными бабами и птицами подсолнухами да коноплей, — спровадив ли буренок к хозяйкам, встретив ли их с утраца, пробежит сквозь деревенскую улочку, выс-

счит на самую маковую горы. Прокатившись по ней меж вспененных сурепкой и лопушняком обочин версты три с гаком, котушкой устремляется к тому же бору, в который низовьем, раскачивая лиловые султаны кипряка, — со стороны-то подумаешь, лисица густотравьем к утиному выводку подкрадывается, — обычно пробиралась своими потайными тропами ловкая, как белка, Аленка.

На подходе к чащобине, в которой — кто ж из маланических не знал? — завсегда и земляники, и куманики, и боярки с калиной — необорно, так вот, значит, приближаясь к этому сладкому месту — только с разных сторон, — и девчушкина стежка, и проселок натыкались на приболоченный, торфяниковый прудишко. Испокон местечко это не принадлежало ни Маланичам, ни видневшемуся на дальнем холме хутору Гречишному. А вернее, торфяник этот считала своим вся округа, потому как меж и границ особо в таких захолустных, неукосных местах никто не соблюдал.

Вырубая рогоз и камыш, торф брали в этом ложку с незапамятных времен, не скандаля, все кому не лень. С годами, постепенно углубляясь и расширяясь, затапываясь хоть и прозрачными, но коричневыми до жути водами, рукотворная ямища обратилась в приболоченный захолустный прудок.

Правда, на подступах к бору с маланического крыла мужики подсуетились и, как-то сговорившись, миром его мало-мальски подрасчистили, даже дубовые клади у берега выложили. За десятки лет они разбухли, высинились и обзавелись небывалой прочностью — выморились. Возвращаясь из покосов, деревенские частенько заворачивали уже по густым сумеркам в этот медвежий угол, на купальню, остудить дневной жар, смыть усталость, обрести силу в извечно прохладных приборудых водах.

Осыпанная с ног до головы пыльюцой вошедших в спелую пору трав, насквозь пропахшая их духом, руки-ноги — липкие от цветочной сладости, хоть бери да облизывай: прям-таки медовые, наспех скинув пошитое к Троице, но за месяц уже обляное, выжаренное знойким июнем платьице, на мелкоте, недалеко от кладей Аленка принималась смывать с себя дивную, волшебную пудру, замешенную на сусальной пыльце лютиков и донников, на густо-рыжих набрызгах, оставленных тычинками диких горлицетов, на дробных, едва различимых лепестках поспелой валерианы. Только затронь нечаянно ее замороженные всяческой пчелью зонтики, колыхни высоченные стебли — вмиг окуришься нежными кремово-молочными соцветиями.

По рукам и ногам оплывали перламутровые радуги, стекали на коричневую прозрачность заводи, легкойшей петрой россыпью расходились круг за кругом по водяной глади, пока не терялись в тростниках и рясках.

Твинькали невидимые пичуги. Послушная послеполуденному, сморенному ветру, приняхивавшаяся то к тонкому, едва уловимому аромату рассыпавшихся вдоль прогретого солнцем мелководья молочно-небесных незабудок, то к резкому духу будылистых, заполонивших маланический подступ бодяков, мягко вздыхала широкой грудью низкая, почти невидимая волна.

Беззвучно-невесомо хороводили у берега своими штапельными крылышками мотыльки. Время от времени они всей дружной компанией опускались у мелких, поросших осокой лужиц и, развернув собранные в бараночку хоботки, принимались вкушать настоящий за множество лет на белокрыльниках, вербейниках и ятрышниках божественный елей — лакомую приборовую водицу. Кроме нее да вкусиющего цветочного нектара они ведь в своей скоротечной судьбе ничегошеньки и не признавали.

Какие-такие особые забавы у деревенских ребятишек? В ту пору в Маланичах не то что света, даже радио еще не провели. Все развлечения — лес, ручей, луговины вокруг Маланичей, да и те — если не «привяжет» ко двору извечная крестьянская забава, у которой и для малышни сыщется свое дело.

Но как бы там ни было, выкраивалась минутка, и Аленька бегом-бегом — в свои излюбленные места. Она рано, годов пяти, научилась плавать — не заметила даже, когда это с ней случилось, как-то само собою вышло, без малейшего страха. Может, потому, что родилась она в апреле, в самое что ни на есть водополье?

Плавает да плавает девчонка словно серебристая юркая плотица; со стороны подумаешь, вода для нее — дом родной. Сколько ни пытались мальчишки подстеречь ее врасплох — и, схвативши за руки за ноги, раскачав из всех силенок, забрасывали на самую середку прудка, и, незаметно подныривая, «топили», — Аленька, как непотопляемая лодочка, нырь — только сверкнет на шее подаренная крестной грозочка стеклянных бус. Глядь — уже грозитя обидчикам своим процарапаным надоедным цыпками кулачишкой с другого берега.

На гречишенскую сторону она и по своей воле нет-нет да и заплывала. Здесь, чутко прислушиваясь, как в лесной тиши охает трава под шагами чужака, под кустом широченного крушинника, с которого начинается густой «малиновый» лес, уже несколько лет как обустроила свое гнездовье старая ее знакомая — дикая уточка.

Еще ранней весной, когда только-только сошел снег, прибежала сюда Аленька за сморчками. Грибов тогда вовсе не наискала, а вот на уточку, что затаилась в своем схроне, почти слившись с прошлогодней листвой, наткнулась. Тревожить наседку по деревенским понятиям — ни-ни! И она не стала, но место приметила.

А спустя две недели, когда на угорьях и вдоль грядки болотной ольхи затабунилась первая муравка, мамашка привела свое потомство к воде. Тут-то и застала ее Аленька. Присела за кусточком, досмотрелась, как крошечные желтоватые с темненькими пятнышками на будущих крыльцах комочки, проскользнув ручейком к бережку, следом за матерью смешно и бесстрашно, так же, как и она когда-то, впервые чебурахнулись в воду. И поплыли себе, поплыли!.. Воспоминания детства потом всегда возвращали Алену к этому пруду.

4

А еще из памяти непременно всплывал приютившийся к дальним задворкам сеной амбар. Сена-то в нем Аленька отродясь не припомнит, потому как хранить его в этой развалюхе было невозможно: прогнившая соломенная крыша, поросшая крупнющими плюшками мха, обвалилась — того гляди, и сам щелястый, подпертый с левой стороны березовыми жердинами сараюшка слетит под уклон, в доходивший до самых верхних его венцов лопушняк. Казалось, время сочтется сквозь отслужившие срок бревна. И если бы не случайный случай, как пить дать прижилась бы в нем какая-нибудь жуткая нежиль. Ан нетушки, сараюшке-то повезло!

Дед Сила Леонтич — хозяин еще тот! Не какой-нибудь вам жиденский мужичонка. К тому ж, со слов бабы Дарьи, — а ей ли не знать? — «не вовсе бесталаный». Его можно бы сравнить с деревом, корни которого непостижимо глубоко ушли в землю.

И пришло же ему в голову! Хотя и не слишком часто радость переступала порог его избы, хоть и не слыло Аленькино семейство богатым — «куды там, детишков цельный воз», а «крох по соседям не сбирало», — все на подворье чином да к местушку. Не мог старик дозволить, чтобы постройка, пусть и вовсе никчемная, «задарма топтала землю». Пусть и места вокруг — завались (подворье их было на широком приволье, у самой околицы), но, почитай, с Троицы до самых первых белых мух, за неимением бани — их как-то в Маланичах вообще не водилось, — женской половиной семейства была обустроена по его указу «хоть не баня, а все ж таки мыльня»: нанесены рушники и веники, неохватное корыто, ушат, ведра и

корды. Правда, за водой бегать далеконько, под гору на ручей, зато поленница рядышком, двери распахни — она и туточки, за углом.

А началось все с того, что, надрав на Коровьем болоте с дюжину плетух мха, дед собственноручно, чтоб не отрывать работный люд от дел, «на гулянках», сразу после Светлой седмицы подлатал крышу, законопатил от сквозняков в стенах все дыры-щели, вместо старой, «наушшал» развалившейся, навесил новую, кой из чего сколоченную, но прочную дверь.

Баба Дарья и мать насобирали на подворье лавок: одна с крыльца, другая из-под грушенки, третья — из сенец; расставили их по стенам «мыльни». А в самом центре Аленкин отец со старшим сыном Степкой обустроили очаг — натаскали с Переплюя камней, выложили их кругом, это чтоб тепло от костровища хранили, над ними же приладили трехведерный чан. Осыпали земляной пол соломой — вот вам и «мыльня».

Полюбили этот сараюшко и соседи. Нет-нет да попросятся, затешутся на все готовенькое: в избе-то, в корыте, поди поплецись. Повадились, значит, валом соседи, а дед — куда деваться? свои ведь, не откажешь — установил черед: хотят, не хотят, а в среду пускал в свою «мыльню» чужих, к концу недели, по пятницам, чufыркались свои бабы и самая малая малкосня — трехлетняя Лидушка и совсем крошечный Миколашка, к ним примыкала и Аленка. В субботу же под приглядом деда и отца хлестались озорные до невозможности, гораздые на всяческую шкодь старшие Аленкины братья Степка и Егорка.

До «мыльни»-купальни этой добраться было не так-таки просто: притулилась она, как ворчала баба Дарья, у черта на рогах, в таком захолустье — самое место в прятки да жмурки играть. Отцу, бывало, чем дальше в лето, тем чаще требовалось перед помывками снимать с амбарного шкворня литовку и смахивать ею весь неумный чертогон вокруг этого надревнего сарая. Крапива, татарница и репей, в отличие от огородины, совершенно не просят полива, но — «на ж ты, поди ж ты!» — растут себе припеваючи, словно на дрожжах.

И вот под Божьей серебряной дорогой наступал пятничный вечер. Когда Горлопан, обустроившись на частоколе, часто-часто хлопая крылами и голося, словно малахольный, на все лады, принимался кунать свой вислый калиновый гребень в зарю, вернувшись по закатному свету из покосов или с прополки мама шла в пристроенную на вольном духу закуть, слышно было, как она ласково о чем-то толкует со Звездочкой, как часто и звонко цыркает о подойник молоко.

А баба Дарья с Аленкой уже сновали от избы через обросившийся, до былинки знакомый и родной огород к «мыльне». Воду в чан отец из подгорья еще спозаранку, когда и не рассвело, натаскал.

Стряпавшись поутру, баба Дарья не забыла задвинуть в печку и чугунок со своими травами. Коса у нее хоть и осеребрилась, но все еще длинная в ее осенины. В бабуле вообще было так много последней красоты! А у мамы так и вовсе — косища по самый пояс. У Аленки, правда, пока что две жиденькие белобрысы веревочки. Но, обнадеживалась она, бабы Дарьиными молитовками да силой трав, на Аграфену Купальницу собранных, пособят — глядишь, и у нее косы выладнятся.

«Заодно и Аленке цыпки пропарить да отскоблить, — вздыхала бабушка, топчась в мыльне, — хочь как бы к осени успеть вывести, ить в школу собирается, поди, такую чумичку и не возьмут».

Баба Дарья разводит огонь, Аленка, «чтоб потом туда-сюда не шлындрать», по росной белозарности таскает и таскает из поленницы дрова, даже умается, завалив ими весь дальний угол сараюшки.

А потом, разнагишившись, покуда не изгаснет, словно измятый клеверный цветок, последний умирающий огонек под чаном, подливают они и подливают в

него воду, хлещутся, натираются, рассеиваются по лавкам березовыми да дубовыми вениками, ополаскиваются золотистым травяным узваром, расчесывают липовыми гребнями волосы. От них пахнет квасом, мятой, Бог да бабуля ведают еще какими духовитыми травами.

Про гребни эти липовые не помешало бы маленько рассказать. Скудельными вьюжными вечерами, когда дедовы «стоптанные» ноги мешали ему выходить «на свежий дух», сидя на конике, Сила Леонтич вынимал корзинку с загодя, еще по теплу, собранными липовыми чурочками и принимался мастерить «всяко-разно-дервянно». В основном ребячьи забавы — игрушки, значит.

Бабе Дарье до всего есть дело. Терпела она, терпела дедово «баловство», а когда все жданки переела, когда все надежды покрылись плесенью, что ее Сила сам за ум возьмется, «хочь что-нибудь путное сладит, бирюлек-то цельна изба!», пощуняла старика: мол, «хочь бы уж по гребню нам со снохой да с внучонками сострогал что ли, все бы больше толку».

Дед и не подал виду, что разобиделся за слаженную им «дитячью надобность», молчком занялся заказом. А к Рождеству, когда вовсе попустили болячки, — нате ж вам! подарочки! «Такие гребни, — обрадовалась дедову подношению Алелка, — разве что Марья Моревна да Василиса Прекрасная имели!» Накануне отец принес ей из библиотеки книжку со сказками. В буквах Алелка еще не шибко, а картинки ей понравились — глаз не оторвать, все б рассматривала да рассматривала.

Чтобы, накупавшись, по разлитому березовому молоку добраться до избы и, уткнувшись в бабулино плечо, мешая с былью небылицы, тут же уснуть на лежанке мертвецким сном, приходилось уже по звездам под еле слышимое, осипшее верещанье болотных коростелей и гулкое уханье выпы пересекать длиннущей подорожниковой стежкой заросшую всякой вкусной всячиной бакшу. В потемках душа ловила запахи по-особому, а они здесь стояли заманны-ые!

Вечером-то особо не разглядеть, а вот на световой кутерьме удержу не хватало не завернуть сюда с какого-нибудь лопушного боку. Правда, баба Дарья моркву до сроку дергать не позволяла: подоспеет пора, прополов «как следно», сама угощала гостинчиками — тонюсенькими рыжими хвостиками.

И маковые головки срывать тоже строго-настрою воспрещалось. «И-их! Сердце выковырнули из груди, крапивное семя! Чем потом я вам, анделам, на Маковой пироги посыпать стану?» — всплескивала старушка руками, хваталась за крапиву, выловив за уши спрятавшихся Егорку со Степкой в чистотельниках за избой. И чуть не со слезами принималась «перепетряхивать» из расхалилеянных ребячьих пазух еще неспелые, покрытые белым налетом маковки.

Хоть мак и рос дурносевом, сам по себе, и мать, пропальвая огород, по пролетью сдергивала его настырные заросли, но он, проныра, объявлялся снова и снова то на луковых, то на огуречных грядках. И там, «к местушку», оставляли его опущенные вечно дрожащими ресничками маковки до созревания. Проходя мимо него, баба Дарья, бывало, ни за что не стерпит, пренебреженно наклонится, шепнет: «Мак, маковой, наливайся, здоровей!»

Шелковые, то бледно-сиреневые, то едва-едва розоватые лепестки его неказистых цветков поминутно ронялись наземь. Может, и понежились бы они на миру подольше, но толстопопые шмели, слетавшиеся в маковое буйство с первыми лучами солнца, а порой и остававшиеся в них на ночь, копошились и шебуршились в пушистых сердцевинках. Раскачиваясь и выгибаясь, нежнейшие лепестки не сдерживались, невесомыми бабочками пускались в полет.

Сорняк сорняком бушевал по закрайкам огорода и паслен. Это нынче полным

полно всяческих сластей, а в те времена, когда Аленка еще и знать не знала, что такое конфетина, лакомые его ягоды слыли среди малышни наивкуснейшим продуктом. На удобренной огородной земле порой он мог войти в такую силу, что по крупноте своей не уступал крыжовнику. А по цвету ягодка эта — ни дать ни взять черная смородина: такая же росная, такая же сладкая. Зачастую, обтрескавшись паслена, ребятня по полдня со спущенными штанишками сидела в лопухах. Но эта оказия в скором времени забывалась, и детвора, топчя гряды, снова устремлялась на огороды за вольным лакомством.

И подсолнухи на маланических огородах тоже никто не сеял. Извечная бабья забава просыпалась из карманов передников сама по себе, сама по себе и произрастала. Не требуя никакого особого ухода. Иными годами их на огороде объявлялась прорва, и тогда их, так же точно, как и самосевную маковую поросль, нещадно стяпывали, оставляя пару дюжин на пощелк и на развод.

У ребятни не доставало терпежу дожидаться их поспелой поры. Ползком вдоль гряд проберутся, бывало, Степка с Егоркой — одного поля ягоды — на огород, хватя-круть двум-трем гусиные шеи, пих-пих поскорей осыпаящиеся желтой крупкой шершавистые сковородники за пазуху — и деру в слаженный из ракушника шалаш на заветный Переплюй.

За скрученные на картофельных грядках картузы «молочных» подсолнухов вступался дед Сила. Коли даст осечку шкодник, не успеет устрекотать — дедова лозинка (хранившаяся за-ради остратки под застрехой, и до которой никто, кроме Силы Леонтича, дотрагиваться не смел), жалица эта дотягивалась своим жиденьким, но таким кучасим концом пренебрежно до мягкого места неповоротного, да так, что впору, поддернув закатанные до колен штаны, «камаринского» отплясывать.

Надо думать, деду в эти минуты наверняка вспоминались и его мальчишьи годы с обязательными набегам на чужую, да и на свою собственную бакшу. Может, поэтому зачастую он, вдруг хихикнув и покачав головой, ни с того ни с сего останавливался посередь лупцовки и отшвыривал лозинку. Внуки — штаны в охапку и «бегом, бегом!» все на тот же Переплюй, охладить разобиженные зады в его ласковых водах.

6

Баба Дарья, если уж говорить по правде, — душа жалостливая, не передать словами. Бывало, как только отвернется ее Сила Леонтич, «на случай чего недоброго» потихонечку запихнет «энту розгу» куда подальше. Что пренебрежно станет запевом к их с Силой Леонтичем шутливой перебранке.

Выразительно крякнув и брюзжа на ходу, кинется дед, почерневший от времени, словно мореный дуб, над начередившей мальвой расправу чинить — хватя, а лозинки то и ку-ку. Погрозив скрюченным пальцем, пустится он тогда бабку свою уедасть: мол, ты небось, потатчица, схоронила?

А с бабы Дарьи взятки гладки. «Не докучай, старый! Языком молоть — не мешки ворочать. Пивяка ты, а не мужик! Всех заездил! От же ж горе мне с тобой, ну все памерки отшиб! Сам куды-нито лабозинку забельшил, — раскрошив разговор, подбоченится, отмахнется она от деда и, чтобы не фыркнуть со смеху, начнет поправлять свой сбившийся на глаза миткалевый платок, или уклонится в фартук, будто в него чихает, — прости, Господи! Не для себя стараюсь!» — на том «камфлит» и загаснет.

Закончиться-то закончится, но при одном унюхивании от Степки или Егорки табачного дыма «камфлит» этот разгорался с такой страшной силой, что в него же ввергались не только баба Дарья и дед Сила — к «проучке» подключались

и мать, и отец, и даже Полкашка, принимавшийся в такие грозные для Степки и Егорки минуты как ошалелый носиться вокруг начередивших и предательски их облаивать, словно прокравшихся на подворье разбойников.

Может, потому, что баба Дарья еще раньше Аленки поняла, кто в их избе настоящая скрепа, без кого и семейства-то Гурьевского вовсе бы не было, хоть изредка, но давала она своему Силе Леонтичу кой-какие послабления. К примеру, на никчемном, до которого вечно не доходили руки, углу огорода баба Дарья терпела «сотанское зелье» — так и никак иначе прозывала она высаженную дедом и только им любовно обихаживаемую табачную поросль.

Подходило время — широколистный табачный лопушник входил в мощь, дед досуживал его на вольном притененном духу сарайного чердака, потом мелко-мелко нарезал специально приспособленным ножом, ссыпал в холщовые мешочки и хранил взаперти от досужих внуков.

А во время сушки, чтобы не было у них соблазну, дед навешивал на сарай тяжеленный замочище. Но, как говорится, запретный плод всегда сладок. Спровадив Аленку в караул, чтобы не дай Бог кто из старших не догляделся, Степка отодвигал державшуюся на одном гвозде доску, пропихивал в сарай щуплого Егорку, и спустя несколько минут шкеты уже крутили цыгарки в своем шалаше — и кашляли и бухали на весь Переплюй от забористости дедова курева.

А Аленка до вечера ходила как потерянная. Тряслась и совестилась, обливаясь холодным потом: что как прознают? Словно в ее карауле было что-то такое зазорное, за что вовек не отмолить ей прощения ни у Господа, ни у бабы Дарьи. Ее-то расспросы для Аленки были лише Страшного судилища или даже булавочных уколов!

Степка с Егоркой, — дождю ведь нельзя приказать: «Лейся слабей!» — прознав дедов норы, усвоив все лозинные поученья, очень даже просто, словно вольные воробы, не ломая понапрасну голову, отпускали грехи себе сами. А потом скорее-хонько отыскивали, где «выпустить пар». «Брюквы до Успенья не дергай, к репке не прикасайся, — рассекречивались они сестренке, подтрунивая над дедовыми запретами, — горюй помалу! Огородов-то на одном нашенском урынке, почитай, с полсотни наберется! А если, случись, пошарить на другой стороне Маланичей? Морква, к примеру, у Кузиных куда слаще, чем на нашей бакше! Накось, и тебе прихватил, — братья любили Аленку и каждый раз, возвращаясь с чужих огородов с добытком, заказывая помалкивать, не забывали и о ней.

Младших в свое озорство хитрованы не посвящали: слишком доверчивы и настежь распахнуты еще их души — тут же баба Дарья о внуковых вылазках узнает, а она — не дед, другого сорта, от нее ведь и «не ухвисталупишь». Сама разберется, ни отцу, ни деду не докладывая. Ее запросто так не проведешь: «Складно вы у меня, плуты, баете! Тут слепому — и тому все видно! Э-эх! Я-то к ним, как к пугным, а они прям-таки сокрушили, лиходеи! По миру пустили, не у дел оставили! Как есть — саранча!»

За проказы у нее одна расправа — чтоб ненароком не укрылили, со двора ни шагу, и то картохи ей, видишь ли, поли, то дроздов в вишеннике гоняй, то ненужное за ненадобностью с неважными местами меняй.

Заплатить сироты казанские больше, чем сторицей, — не ту, так другую работу сыщут: да хоть бы, ограждая от настырных кур луковые грядки да и вообще весь огород, разведать подкопанные ими дыры в длиннющем плетне и, «чтоб не пакостили сотаны», заплести прорехи тальником. «А там посмотрим!» — обязательно прибавляла осерженно баба Дарья в конце. Умея читать во внуковых сердцах, знала, что забот у ребят теперь до самого вечера невпроворот, до самой медвяной, обжигающей тело росной прохлады.

Мальчишки сызмала усвоили: идти супротив бабули точно не стоит. Это ведь

все равно, что с дубом бодаться. Может обернуться вовсе непредвиденным. Короче, кто ж не знает: толку вовсе не будет, коли тянуть телегу бокom.

Но плетенье — это ж какая работа! Легче есть песок, чем о ней вспоминать! И на пруд за лозинкой сбегай, нарежь, и до избы вязанки дотащи, и безвылазно до самого вечера штопай, штопай, точь-в-точь, как бабуля штопает по вечерам носки, подправляя этими самыми лозинками растреклятый плетень.

И избави Господи — не хнычь! Вышибай слезу, хлюпай, даже под нос себе ругайся до *не могу*, до хрипоты душевной — бабулино сердце после таковских проделок оборачивается камнем. Потому, прознали расторопные мальчишки, зазря шуршать в муравейнике не стоит, себе больней.

Правда, тетешкаясь с пухлым, словно запечный котан², озаренным огненно-рыжими волосиками Миколкой, у которого круглый год не сходили с лица веснушки, или завидя Лидушку с Аленкой, следом за которыми, по бабулиным словам, «херувимы летают», она оттаивала и, заглядывая в их фиалкоцветные глазки, любовь которых и сердцем не объять, умилялась: «Сокровища мои-и! Лепешечки с молочком не хотите ли?»

Но, когда смачно захмелеет, забьется в окна зоревой вечер, за ужином, рассказывая снохе и сыну, какие у них работающие сыны подросли, «суший клад, прямтаки чистое золото!», похвалит и шалопаистых внуков за починенный забор и, обласкивая своим улыбчивым взглядом, конечно, не погнушается — прежде чем уйти спать за занавеску, выделит из скрыни и им по доброй кружке парного, сладко отдающего марьянниками и чабрецами Запольной лощины. В тот момент помечтать о большем было и невозможно! Хотя назавтра опять все по кругу, по кругу.

Давно что было, сплыло... Но, став только совсем взрослой, начала понимать Аленка, что израненная временем баба Дарья была в суматохе дней в их большом семействе так же, как и дед, той скрепой, на которой, как на тележной оси, держатся колеса. Да-да, на этой маленькой, но удивительно сильной духом деревенской женщине держалась вся обустроенность их жизни.

Мысленно промчавшись через молодые годы, Аленка даже не могла представить: пахло бы в их доме таким уютом; куда бы завезла их без бабушкиного догляду судьба; какой бы бедой схватилась их жизнь; что стало бы с нею, с остальной детворой, да даже и самим дедом Силой, с ее родителями, не будь у них бабы Дарьи?

А дело лишь в том, что, познав и долю, и недолгу, со своей поднебесной статью души усвоила бабушка назубок одну-разъединую, праведную правду — она, по ее разумению, до удивления проста: «То, что идет от сердца, до сердца и возвращается». И еще — «жить надобно за-ради ближнего, иначе ведь и не для чего жить».

7

Прокоротава безвылазно в Маланичах долгую, замозолистую жизнь, Алена Тарасовна могла теперь чем попроси поклясться: о чем бы ни говорилось, что бы ни делалось, о чем бы ни загадывалось — все на гурьевском подворье (да ткни пальцем в Маланичах в какое другое, и на нем точно так-то), все думки, мысли и чаяния крутились вокруг земли. Старушка была тому живой свидетель.

Землица — самое дорогое, самое желанное для русского мужика. Никогда не надеясь на авось и как-нибудь, только в ней он видел и суть жития, и его счастье. Так и дивиться тут особо нечему. Испокон ведется в крестьянском хозяйстве: нет земли у мужика — нет двора со скотиной, нет на столешне ни «штей», ни каши, ступай семейство по миру.

² Котан — кот.

Рожденный на земле, хотел бы он того или нет, уже навеки остается неразрывно связанным с природой и так же, вольно или невольно, вжившись в ее глубочайшую мудрость, втягивается и в ее извечный ритм.

Полюбопытствуй, пройдишь за-ради интереса вдоль Маланичей — с лица-то, с ворот, все палисады с мальвами; где рябинка у калитки, где еще какой куст, а в основном березы — правда, низину захватили во полон размашистые ветлы. Но коли зайти с задов маланичских подворий, не встретишь такой избы, к которой бы не был пригорожен неошкуркованными березовыми жердинами суглинистый клочок земли. В заботах о нем и протекала крестьянская жизнь.

Может, оттого и старушкина память крутится и крутится то внутри, то снаружи, но непременно рядышком с этим невеликим нарезом, излелеянным ее дедами, да и самой Аленой Тарасовной несчетно раз вдоль и поперек.

Истлела Аленина жизнь, истончилась нить ее судьбы, но не навосе облиняли, не «наушшал» поблекли, всплывают и всплывают в памяти дивными видениями родные лица, вязь нескончаемых разговоров об обычных крестьянских хлопотах.

...Самый большой ломоть гурьевской земли, отодвинутый в дальний огородный край, ложился под картошку. Так уж повелось: несколько веков кряду считают ее у нас вторым хлебом. Может, потому и особая ей увага — отводят под нее такую великую долю земли.

Аленка любила смотреть на июньское «картовное» поле. Неброские, то кипенно-белые, то легонечко-чернильные цветики с рыжими лучиками в сердцевинках пышной пеной покрывали молодой, вошедший в полный рост картошник. Может, любовь эта Аленке передалась от бабы Дарьи? Кабы не она, не рассыпанные на чердаке на старом рушнике для просушки эти неказистые кукожинки, может, цветы эти и вовсе не привлекли бы ее девчоночьего внимания.

Когда дед Сила Леонтич, «севший на ноги», уже махнул было на себя окончательно — и фельдшера-то он своими докучаниями измучил, и в силу бабки Махоры, что грозилась своими нашептываниями поставить его на ноги, потерял окончательную веру, — тут за него взялась сама баба Дарья: «Ну не погибать же мужику всамделе?»

Уж из каких-таких слухов прознала она об этом зелье, Бог весть, а только не слычися оно, навосе бы обезножил дед Сила. Пренебреженно на шестой день от начала, в самый картофельный цвет, как только обсохнет роса, проберется, бывало, она межой в дальний конец бакши, нашмурыгает полную корзину самых приглядных «картовых» цветов, да — в темень, на просушку. А как станут они хрусткими, перетрет их бабуля чуть ли не в пыль, ссыплет в мешочек. И как «прикрутит» деда, вынет она из захоронки бутылек с настоящим на перваче картофельным цветом и станет деда пользоваться: то примочки примочит, то капель в чай накапает. Так и спасала, так и не давала погибнуть баба Дарья своему Силе Леонтичу.

...Над Маланичами вызрела осень. Побурели вдоль меж полыни и пырейники, одуванчиковыми пухами распушили свои головки когда-то лазоревые татарницы, сыпает наземь поблекшая лебеда переспелую, семя к семени, крупку.

От одного огорода к другому через плетни и частоколыны ползут нескончаемой пеленой прогорклые дымы. Деревенские от мала до велика, «покуль ни дожжей, ни заморозков», высыпали на картофельные грядки. Под вечер вдруг ненароком случится ночная изморозь, укрыв ботвой вороха, затевают тут же, на выбранном поле, ужин.

Что может быть в эту пору слаще печеной картохи? Чумазые, словно трубочисты, Степка с Егоркой, «расшагайканные», без обутки — видать, еще не замори-

лись на грядках — валтзуются друг с дружкой. Отец прищипывает: «Угомон вас возьми!» — и мальчишки, отвесив друг дружке напоследок оплеух, подсаживаются к костру, ракиотовыми палками принимаются выбирать из углей картофелины. Обжигаясь, перебрасывают их из руки в руку, наперегонки, чуть ли не с кожурой, присыпая ядерной солью, уплетают одну за другой.

Налопавшись, падают отдышаться на высоченный стог картошника, но вкусный дух новины не дает им покоя и там: манит и манит. У ребят текут слюнки, и уже через пару минут они, не удержавшись, снова возвращаются к костру.

Аленка сидит у матери на коленях. Та, еще молодая, раскрасневшаяся от работы, чистит для нее дышащую паром картофелину. Отколупливает ногтем тонкую смоляную кожурку, стараясь сохранить хрусткую поджаристую корочку. Аленка еще совсем маленькая. Мать отламывает по кусочку, сдобривает солью и, словно изголодавшемуся ласточонку, укладывает изжелта-молочную картофельную мякоть в то и дело жадно открывающийся ротик. «Гляди, поперхнешься! — не успеваешь за ней мать, — ты за братьями-то не гонись, они на спор и по цельной, не моргнув, заглотят! Того гляди, треснут!»

Отвернется на Егорку со Степкой Аленка, мать наспех надкусит картошку, следом поспешно хрустнет огурцом, глядь, а у девчушки уж и снова рот нараспашку, прям-таки роздыху матери не дает. Да разве утерпишь отказать от эдакого лакомства?

У ног шныряют рябые курицы. У них не заржавеет — чуть ли не на лету подхватывают зажаристые картофельные кожурки, гоняются друг за дружкой, проворясь стибрить прямо из клюва счастливицы добычу. Кочет, откинув свой тяжеленный гребень на сторону, тщетно пытается навести промеж них хоть какой-то порядок. Куры, в суматохе позабывшие, кто в курятнике хозяин, не поддаются его бранливому ворчанию.

8

Подходит и Сила Леонтич, скидывает с плеча плетуху, доверху набитую толстенными кореньями хрена. Для деда Силы он — наипервейший продукт. «Коли б можно было, ты бы, кажись, и в молоко его крошил!» — частенько подшкеливала деда баба Дарья. А для того и квас — не квас, и щи — не щи, а уж окрошка — и вовсе — не окрошка, коли ее не сдобрить знатной ложкой, а лучше — парой ложек забористого, аж слезы из глаз, аж дух вперехват, хренка, «вошедшего в полнейшую дикость» на заброшенных огородах. «Знатный продукт, от тыщи хвороб!» — не сдастся баб-Дарьиным колючкам дед, ест, бывало, покрякивает да в бороду усмехается.

Не утерпев, соблазнившись заманным духом печеной картошки, к семейству присоседивается и баба Дарья, сдергивавшая с гряд вызревшую морковь: «И мне, что ли чи, с вами уж заодно повечерять?» Отец выкатывает палкой для нее из золы несколько картофелин, на их место подкидывает свежих: мол, вдруг кому еще надумается?

Руки бабы Дарьи не привыкли к покою — пока остывают дымящиеся клубни, она обрезает с прихваченной для внучат «морквы» ботву, скоблит дочиستا брызжащие соком ярко-рыжие сосулины.

— Ну-кась, разгадайте-ка, что б это, по-вашему, было? — сощурив лукаво глаза, обращается она к Аленкиным братьям. — Красна девица росла в темнице, люди в руки брали, косы обрывали?

— Морковка, бабуль, морковка! — баба Дарья еще и смолкнуть не успела, а уж внуки в два голоса, перебивая друг дружку, загалдели на весь огород.

— Ай да молодцы! Поточите-ка зубки, — протягивает детворе по морковине

довольная их сметке старушка. — А это тебе, рыбонька, гостинчик, — кладет она маленькую морковочку в Аленину ручонку.

И ребятишки, не задумываясь, тут же переключаются на морковку.

Куры, обнаружив появление бабы Дарьи, радостно оживляются в предчувствии поживки. В карманах ее передника для них хоть горсточка подсолнушков, хоть пара щепотей конопелинок, а всегда сыщется. И не бывало еще такого, чтобы баба Дарья, проходя мимо, не запустила руку в карман, не угостила бы их чем-нибудь лакомым. Уж кто-кто, а она, кормилица, об их, сердешных, вовек не позабудет, никогда ни вечерять не уйдет со двора, ни спать не ляжет, чтобы не обиходить.

Пеструшки боком, боком подкрадываются чуть ли не под самый бабулин ножик, деловито склевывают соскобленное крошево. И, подобрав все, до самой малой рыжинки, с благодарностью кококая, кланяются хозяйке.

Смекнув наконец-таки, что больше уже ничего не обломится, ненасытные утробы вспоминают вдруг, что кой час уже как припозднились, не обращая внимания на как нарочно выползших на взрыхленную землю жирнющих дождевых червей, опрометью мчатся в курятник. Осмотревшись по сторонам, не облудилась ли какая по дороге в свекольнике, завершающим на насест спроваживается Горлопан.

И всем пора на покой. Мать, прикрикнув на сыновей, чтоб не отставали, несет закутанную в «белокрайку» полусонную Аленку по захолодавшим воздухам в избу. Та, сладкожежка, словно мумку, не выпускает изо рта бабулину морковину.

От домовязанной материной кофты тянет горечью сожженной на костре картофельной ботвы, крашеной овечьей шерстью, новолетным сеном и всякой-разной родностью: Зорюшкиным молоком, малосольными огурцами, поспелыми дикими грушами, жареными подберезовиками.

Разморенной Аленке нет мочи даже пошевелить рукой. Но как же уютно потеряться в этих, знакомых с первых дней, душистостях!

Она уже и не знает: во сне ли или слышит еще наяву, как баба Дарья, спроваживая деда Силу Леонтича «на печерские горы», по-свойски наставляет на завтрашний день: «Плетуха-то хоботная под солому навовсе растрепалася, ай не заметил, хозяин? Дак и санки ребятам к зиме обещался справиться... Пора бы уже и начинать, а то покуль развернесси, и зиме конец... Соседа, что ли чи, просить?»

Наутро и не захочешь — учуешь запах драников: как пить дать — у печи нынче стряпается мать. А и правда, у бабы Дарьи «опосля вчерашней морквы разломил по пояснику». Редко, но в некоторых семействах так счастливо складывается: баба Дарья со своей снохой Марусей, Алениной матерью, жили душа в душу. Свекровь приняла в семью молодку как собственную дочь. Ну а та платила бабе Дарье ее же монетой — жалела не меньше собственной матери. И все, бывало, от неподъемных работ старалась отодвинуть.

Ах, картошка, картошка! В любом виде ты хороша! А уж драники из детства — то с луком, то с сыроежками — Алене Тарасовне и вовсе не позабыть...

Памяти не прикажешь: будь только сладкой, не бреди ты зазря и так измочаленную душу. Она ведь тоже не железная, ей ведь тоже бывает горько. С кем ей, Алениной памяти, поделиться, с кем разгоревать свою кручину, как не с самой Аленой?

Не достанет мочи позабыть им с Аленой Тарасовной и драников военной поры — из склизкой, замороженной картошки, собранной в заброшенных колхозных буртах. Под немцем-то, чтоб не помереть с голодухи, приходилось высушивать эту гниль, растирать ступкой в муку и, добавляя щепоть ржаной, «доброй» мучицы да несколько пригоршней мякины, востожить тощие до синевы, схожие с подошвами кирзачей, прогорклые драники-ошметья, прозванные в народе «пирепиками».

Помнится, в самую стужину сорок третьего захворала мать, бухает и бухает на всю избу. Недельку гудели над округой тогда метели, фрицы выгоняли баб и подро-

стков на расчистку дорог. Одежа, обутка плохенькая. Полицаи выгребли для вермахта все валенки и полушубки. Укрутившись кое во что, Маруся увязывала Аленьку побитой «шашалом», но все ж таки еще хранящей тепло пуховой баб-Дарьиной шалью, и они, обмотав ноги чем придется, шли к комендатуре.

Потом до самых звезд чистили проселки и большак, а их снова и снова неукроти́мо засыпало снегом. Мать не сдюжила, простыла и слегла до самой весны. Все заботы о ней, о маленьком Николке, об их пропитании легли на девчоночьи плечи.

А где достанешь это самое пропитание при германце? Все, что можно было продать или обменять, Аленька уже вынесла из избы, даже кованный «приданный» сундук бабы Дарьи подгрребла за полкраюхи Тонька Свиридова, полюбовница Петрухи-полицая.

Вот тогда-то и повадилась ночами Аленька на пару со своей товаркой Галинкой вслед за маланичскими бабами на заброшенные картофельные бурты. Занесенные снегом, лежали они за деревней верстах в четырех. Самую лучшую, непромерзлую картошку, раскопанную уже на днище ямины, без разговоров отбирали полицаи, охранявшие подступы к Маланичам. Аусвайсов на выход из деревни бабы не имели, и хриstopродавцы этим пользовались.

Но... кабы ни эта, горючими слезами добытая гнилая картошка, едва ли спасла бы тогда Аленька Миколку и мать... Младшенькая-то, Лидушка, не сдюжила, померла в самые холода сорок второго... Дед Сила ушел годом раньше, через месяц, как закопал на погосте изрешеченную фрицем бабу Дарью...

На отца, забранного в самом начале войны, похоронка пришла уже после... Где-то под Веней лежит он в братской могиле... Хорошо, что мать не узнала о его гибели, так и не оклемалась, сердечная, под Красную Горку легла рядом с бабой Дарьей и дедом Силой Леонтичем.

А Степка с Егоркой, приписав себе годики, ушли добровольцами еще в августе сорок первого... Так и канули... Бумага казенная пришла: мол, без вести пропали... Где-то под Ржевом... И не мудрено — отчаянные были, не приведи Господь! Так что, когда и мать перебралась к своим на погост, осталась она на всем белом свете одна-одинешенька, без подмоги, без самой малой опоры, с бледным, хилым как тростиночка Миколкой на руках.

9

«Оно с чего тогда началось-то? — окончательно разбередила Алена Тарасовна душу. — К самой уборочной сорок первого лучших работных мужиков уже призывали еще в июле, прямо с сенокоса. И сразу же следом за ними утекли из Маланичей трактора и грузовики. Их и так-то было кот наплакал, а тут и вовсе... Вызвободилась на две трети голов и конюшня».

Эх, память-червоточина!.. Лучше бы и не перетряхивать Алене те неподъемные месяцы!

Как подоспела пора убирать хлеба — рук не хватало, не продыхнуть бабам! Да и много ли они литовками, серпами нажнут? А еще с поля перевези, а еще обмолоти, а еще в район заготовку для фронта на подводах доставь!

К чему это все выплыло сейчас?.. Да все ведь одно к одному вьжется.

С уборочной, ясное дело, при такой-то силе затянули... Так, что когда немец, переступив через Маланичи, попер — все шел и шел, не оборачиваясь в сторону Москвы, в своей серой шинели, и не было ему счету, — тогда ведь до уборки колхозной картошки только-только допялись, одно-разъединое поле и успели-то выбрать. Наскоро почистив старые бурты — уже верстах в пяти полыхало, — тут же, на месте, кое-как прикрыв соломой собранный урожай и прикопали. Большая же часть его осталась в поле, легла под взрывы и морозы.

К зиме, собирая продовольствие для вермахта, немец увел со дворов всю скотину, дочиста опустошил маланичские закрома и подвалы, не оставив деревенским на пропитание ни хлеба, ни картошки. И если бы не наспех сгуртованные бурты да не убранное за Утиным болотцем картофельное поле, может, и вовсе в Маланичах никто бы до августа сорок третьего не дотянул...

«Живуч все-таки русский человек, — слотнула подступивший ком Алена Тарасовна, и линиялые глаза ее осветились вдруг каким-то гордым, неугасимым светом. — И танками враг Маланичи ровнял, и снарядами перепыхивал, и за каждый неугодный ему шаг расстреливал... А уж как голодом морил — и вспомнить жутко! Но сдюжили Маланичи! На перепихах, на прогорклой картохе, а сдюжили!»

Может, оттого и поныне не падка Алена на разносолы. Есть краюха на столешне, есть картошка в погребе — ну и ладно, уже не голодно. Приспичит еще чего — бери лопату, ступай на бакшу, она тебе и кормилица, и опора. А коли не полемишься — выпестуешь на ней себе и разносолы.

Да... Как любила приговаривать, бывало, баба Дарья: «Жисть вести — не вожгой трясти». Поотпустит, перескулит в подушку вместе с хозяйкой разволнованная память — глядишь, всласть расцарапав старушкину душу, помаленьку занегумит неотвязная боль.

Нет... не исчезнет навовсе, этого теперь уже не дожидайся, просто затаится до поры до времени. Лишь за-ради передышки позволит снова окунуться Алене Тарасовне в свои рассветные годики, когда дитячьей душечке, еще не знавшей, что есть на свете и другие, более завидные доли, чем замозолитая крестьянская, казалось, что счастье — вот оно, рядышком, чего еще искать-то? Предложи другое, ни за какие коврижки и не надобно.

А и правда, чего еще было желать-то пятилетней девчонке? Семейство гурьевское ладное, все еще живы-здоровы, мамка с папкой в щепки разобьются, чтобы детвора была сыта, одета-обута, с самой заутрени до поздних звездочек на бакше, на подворье, в поле, на сенокосе. В шелках, конечно, не ходили, ясное дело. Сошьет, бывало, мамынька ситцевое платьице или рубашонку — радость несусветная! Да и на что они сдались, те шелка?..

Работа? А куда ж без нее? Откуда хлебушек возьмется, если не погнуть спину-то? Так размышляла тогда своим детским умочком Аленка.

А ведь с какого боку не подступись, права Аленка-то — даже малые деревенские ребятишки — видно, с материнским молоком им исконок веков передавалось — понимали: нет земли, нет работы на ней — нет и крестьянского счастья. Ленивых в деревне никогда не любили, в ходу была и поговорка: «Не тот убог, у кого ничего нет, а тот, кто не работает».

Взять хотя бы мамыньку Марусю. Ни разу не слышала Аленка от нее жалоб или роптанья какого: мол, детей, и тех вижу только сонными: то на колхозной пожне, то на своей бакше. Перецелует, бывало, спящую малышню, и счастлива, что все обихожены и досмотрены стариками; правда, нет-нет да обронит своему Тарасу с грустинкой: «Скоро узнавать меня за работой перестанут, того дожидайся, бабу Дарью матьеру станут кликать».

А чуть свет — опять впрягается и тянет, тянет, словно ломовая лошадь. И все ради них, ради пятерни своей.

Об отце и говорить не приходится. У бабы Дарьи и деда Силы был он один-разъединный. В Первую, проговорилась как-то бабушка, попал Сила на фронте под какие-то газы. Думали: вовсе деток не будет. Да долго и не было. Но Господь все-таки жалоблив — послал им сыночка. На него у стариков и была вся надежда, ему и его детвора — вся любовь.

Тарас видел и понимал это и отдаривался, чем только мог: в пример своим ре-

бятишкам рано сменил на подворье отца, к бабе Дарье — не иначе как с заботой и почтением.

Никто в семье не знал, с какими звездами он ложился, с какими петухами вставал. Бабы в Маланичах обзавидовались Марусе. И работной-то, и выпить знал меру. Подсоберет, бывало, Тарас Силыч к Велику дню какие-никакие деньжата, спровадится в город, никого из большого своего семейства не обидит: ребятишкам — жамок да баранок, да по игрушке; жене — отрез разбукетистый на платье; отцу — пренепрременно картуз, чай, старый за год-то поистрепался; матушке, это уж как водится, — «белокрайку» новую.

К слову заметить, бабу Дарью с сыном связывали какие-то особые и вместе с тем простые, можно сказать, домотканые, сермяжные нити. Точно так же, как любая горечь, павшая на сердце Тараса, в тот же миг острой болью отдавалась в материнском сердце, так и любая его малейшая радость принималась ликовать в ней, как собственная.

«Да, батянька... — соленые слезы бегут и бегут ручейками, давно проели на Аленином лице неизгладимые русла, — оберегал ты, словно сокол, всеми силами свое гнездовище... А война, вишь, как круто с ним обошлась? Разметала по пруту. Отняла у нас с Миколкой и тебя, и мамыньку, и стариков, и Лидушку малую, и Степу с Егоркой».

10

...Вроде и спит девчонка, а вроде еще и нет. И так-то сладостно сморила ее истома, так-то покойно ей на старой скрипучей койке в обнимку с бабой Дарьей и щекастой тряпичной Варюшкой.

Куклу эту мать сработала накануне Петрова дня. Лоскутов в чулане целый узляк, на полное тряпичное семейство хватит!

Аленка с Варюшкой сразу подружились, стали такие расподруги, что и водой не разлить. Куда, бывало, Аленка, туда следом за ней, а точнее, подмышкой, тащится и Варюшка. И все в подружке Аленке нравилось, вот только лица отчего-то у куклы не было. Ни бровки углем не подведены, ни носик, хотя б какой-никакой, и тот не нарисован, одни только щеки свеклой натерты: бабуля строго-настрога снохе своей, Алениной матери, наказала: мол, гляди, Маруся, не спозволь — нет у гулюшки души, значит, и ротика-носика ей не положено.

И вот уже — сначала будто бы в тумане, а потом все ярче, ярче, все отчетливее — видится Алене Тарасовне: спускается в подгорье к Переплюйке какая-то девчушка — платьишко ситцевое, алое, в белый горошек; на ногах — подвязанные выше щиколоток, свостоженные из сермяги и выкрашенные дубовой корой чульки. В руках у нее какой-то сверток. Пригляделась Аленка: да это же она сама с увернутой в материн бахромчатый подшалок Варюшкой!

Стежкой, поросшей всяческой высоченной травью, пробирается она к братьям на ручей. У них, озорных, там на запруде весело. Да и жареным на прутике пескарешкой не обнесут. Валуют ее Егорка со Степкой, и в обиду, ходи себе вдоль деревни, куда душе вздумается, ни за что на свете ни ребятам, ни гусакам, ни даже собакам — а они в Маланичах куда какие злющие! — не дадут.

Вдоль тропки, обнесенной болиголовником и анисом, то там, то сям ключевым переплеском кропят небесные колокольцы. Совсем недавно, когда отец с матерью брали свою ребятню в покосы, братья помогали ворошить, а Аленка в шалаше на краю лесной поляны выучилась заплетать венки.

И сейчас, скок-поскок, сама с вершок, спускаясь по подгорью, к простирившемуся за откосом Переплюйке, набрала она на веночек целую охапку лупастых рома-

шмек, потянулася за последней — и вдруг кто-то, даже разглядеть не успела, щелкнул ее промеж глаз! Словно иглой пронзил Аленку, бух в траву, не до венков, не до сладких пескарей бедняжке. Слезы — в веревку.

Ревет белугой в травостое Аленка, того гляди, всю пойму слезами затопит. Услыхали братья-няньки. Огляделись: кто посмел их Аленку забижать? Кинулись спасать, мчат к ней опрометью: мол, что такое, кому за сестрицу нащелкать?

Разыскали они повалившуюся в траву девчонку, хоть и жалко ее братьям, но и, глядя на малую, удержаться от смеху невозможно: нет глаз у Аленки, на их месте узенькие щелочки, и ручейками из них по щекам течет, ни остановить, ни уговорить его, проливное горячее девчоноче горяшко.

Уж и так они с сестрой, и эдак: мол, потерпи, Аленка, — баба Дарья не смотри, что не разбирает по-печатному, а не даст пропасть, что-нибудь да придумает, к завтраму пчелиный укус как рукой снимет.

Не слышит их несчастная, в голос голосит. Что тут делать? Надо выручать, пока не сбежалась вся деревня. Егорка подолом своей рубахи утирает Аленке растертые по лицу грязными ручонками сопли, прикладывает ртом к ее распухшей переносице, пытаясь высосать из ранки яд. А в это время Степка, отыскав пижму, уже жует золотистые рябинки в мелкую юшку. Натирают пижмой Аленкину переносицу и ведут ее, «окривевшую» и поминутно всхлипывающую, за подкрылки домой. Сдают, понунив носы — само смирение, — с рук на руки на излечение бабе Дарье. Та сгребает дитя в охапку, прижимает к своему теплomu животу, утирает фартуком последние слезинки, гладит по пшеничной головке, заглядывает в слипшиеся Аленкины глазки: «Жалкая ж ты моя!» — всплескивает руками: мол, опять, небось, покуль под горой лепешки коровьи жгли, с девчонкой беда приключилась — не доглядели за малой, паразиты? Братовьям оправдываться или вообще сейчас что-либо говорить — что самому Господу перечить.

Бабу Дарью вдруг осеняет, и она, подобрав свою извечную, цвета поздней ночи, в дробную-дробную фиалочку, юбку, спускается в погреб, откалывает добрый кусок льда. Отец и дед Сила загодя, еще под Сретенье, нарубили его на Кроме и, навозив огромными глыбами, навалили в дальний угол погреба: в летнюю пору квас остудить, молоко не проквасить — ой как согдится.

Старушка кличет внуков, вкладывает в Аленкины руки завернутую в рушник ледышку, усаживает девчонку на качели и наказывает мальчишкам по очереди, «не шибко вскрывляя», качать сестру до тех пор, «покуль занегумит». «Да глядите у меня!» — приструняет она внуков, закрывает за собой калитку и спешно спроваживается со двора поросшей сергибусом маланической улочкой по каким-то одной ей ведомым делам.

Сила Леонтич — и сомневаться не сомневайся, — если берется за что, то ладит на славу. Аленке даже держаться не стоит: качели обустроены так, что захочешь — не выпадешь. Сиди да по сторонам поглядывай. Жаль только, Аленка «окоселла» и ничегошеньки с высоты, на которую взмывали ее братья, видеть не могла.

Ни пегого коня вдали — словно игрушечного, забредшего и мирно пасущегося по недогаду объездчика в колхозных горохах; ни отца, выворачивавшего на проселок из дальних лугов на мерно поколыхивавшемся, крошечном, с мизинец, возу новолетнего сена; ни матери, распустившей у снопа свясло, сдернувшей «до шпенту» замашками руки в конопляном лесу у Семушкина брода; ни с выцветшей на солнце путаной бородой деда Силы, что устало топал из Хомутова бора с плетушкой поплавушек да еще в картузе, чтоб не растерять, с пятью пучками переспелой земляники, заботливо перевитых длинными былинками луговой овсянницы; ни

даже бабы Дарья, спешившей из селпо со спасительными, облитыми «лизательной» вкуснятиной «жамочками».

— Рели-качели! — мурчит Егорка.

— Птички прилетели, — гунит, будто пономарь, вторя ему, брат.

А то, бывало, надоест Аленке догляд, схоронится она от своих братьев-нянек в каком-нибудь потаенном углу, и ищи ее свищи. Баба Дарья ну внуков на все стороны пушить: «Ах, чтоб вас!.. Опять за малой не усмотрели! Ить за ей, шилой, — глаз да глаз, а вам, сотанам, только б в копырки баловать! Вот накласть бы вам по загрявкам!»

Кинутся Степка с Егоркой сестру искать, с ног собьются. Все пригорки обегут, под каждый куст заглянут, вдоль ручья до самого бора доберутся — нет и нет Аленки. А она наберет полный подол ранеток, сидит себе да яблочками похрумкивает.

Обшарив уже по тонким бирюзовым сумеркам сеновал, ребята наконец-таки вспомнят о потаенном Аленкином месте. Но чтобы вовек ей неповадно было прятаться, сначала спускаются в погреб, отлавливают жирнющую, аж мороз по коже, лягуху, и только потом отправляются на расправу.

Держа обмершую от страха квакушку за лапы и размахивая ею высоко над головой, Степка заходит с неожиданной стороны, а Егорка, зная, какая Аленка до страсти пугливая, кричит: «Держи ее, блудную овцу! Да лярву, лярву ей в карман! Будет знать, как от братьев ховаться!»

Аленка по размытой заходящим солнцем золотящейся бакше, по поросшей всяческой травью стежке задает стрекача. И лызы! Да не куда-нибудь, а прямо за широкую, баб-Дарьину юбку — только там и спасение. А бабуле не до руганья. Перекрестилась, завидя внучонку, по старинному деревенскому обычаю широким взмахом — без памяти рада, что отыскалась пропажа, жива-здорова. Гладит, гладит своей шершавой рукой девчоночью пшеничную головку, запутлякавшийся в ее волосах, шевелящийся от закатного ветерка золотистый лучик. Никомушеньки в обиду не даст!

11

Ах, братья, братья. Не осталось у Аленки на них, озорунов, и малой обиды. Так и не в диковинку — уж кто-кто, а Степа с Егоркой любили ее без памяти. Да... кабы не война эта, проклятущая, какое семейство богатое у Гурьевых случилось бы: трое братьев, две сестры. А вошли бы в возраст да переженились! Сколько бы детворы, сколько бы правнуков у деда Силы и бабы Дарьи народилось!..

Но война объегорила: из всех родных душ оставила Аленке лишь маленького Миколку. Худющего, как стручок, такого хилого и слабого, что без слез и смотреть было невозможно. Видно, махнула на него «косая»: мол, и утруждаться не стоит — как пить дать, не сдюжит шкет, сам помрет.

Может, и правда не выкарабкался бы Миколка, кабы не Аленкин уход и забота. Росточку-то был со стреляные пушечные гильзы, в которые играл с соседскими мальчишками.

«Видать, Господь сжалился тогда над нами, помог уберечь мне последнюю родную кровиночку», — вздыхает Алена Тарасовна.

Самый страшный день, как теперь ей кажется, для них с Миколкой оказался второго августа сорок третьего. Наши вот-вот вступят в Маланичи, с юга все громче слышится кононада. Немцы спешно драпают. Наутро объявлен сбор всех жителей у комендатуры.

— Ишь чего удумали, — возмущались деревенские, — нами прикрываться!

— Ну уж нетушки, — взбунтовалась и Аленкина душа, — коли в сорок первом в паводок не споймали, не спроворились на работы угнать, то теперь, когда сами деру дают, и вовсе этому не бывать!

В версте от гурьевского подворья немцы, установив свой орднунг-порядок, поделили еще весной сорок второго колхозное поле на лоскуты. Деревенские уже второй год сеяли на нем себе на пропитание озимую рожь. И сейчас, в начале августа, пожня лежала в крестцах. Обмолотить не успели, когда тут!

Еще с вечера прикладом в ворота греманул власовец.

— Гурьевы? Чтоб завтра двое со двора к шести утра с самым малым барахлом — к комендатуре! И смотрите мне! Чтоб без задержки!

«Мало бы чего тебе, холую, захотелось!» — вскипела было Алена душа, но она все-таки сдержалась, не подала виду, молча затворила ворота и, подзвывая Миколку, принялась шепотом открывать ему свои задумки.

А на другой день — еще и не развиднело, в половине четвертого, — как и уговорились, она спровадила мальчишку на пожню и, наказав сидеть смирно, что бы ни случилось, затолкала его под крестцы. Сама, осмотревшись, не заметил ли кто их хитрости, бегом-бегом домой.

Растопила заправленную с вечера печку. Задвинула в нее ведерный чугунок с водой. А часам к пяти, когда вода забила белым ключом, трижды дробно перекрестилась и, подставив поближе правую ногу, опрокинула на нее с загнетки огненный вар.

Боль была такая непереносимая, что Аленка потеряла сознание. И когда, недо считавшись их с братом, в гурьевский двор прибежал полицай, обнаружил у печи в луже воды недвижимую Аленку. Решив, что «из девки дух вон», — особо-то размышлять ему было некогда, да и ожоги на ноге пузырились такие, что жутко смотреть, — полицай, чтобы не отстать от своих хозяев, рванул догонять уже выдвигавшийся из Маланичей в сторону Брянска обоз.

Если бы Аленка увидела, как, отступая, фашисты бегали по тому самому ржаному полю, на котором ранним утром она сховала брата, и факелами подпаливали крестцы, вот тогда бы от беспомощности сердце ее точно разорвалось.

Но она пришла в себя лишь на закате. Кое-как выползла на крыльцо. Запад полыхал всю ночь — горели соседние деревни, немцы выжигали под корень все, что встречалось на их пути, не оставляя после себя ничего живого: ни людей, ни скота.

А утром пришел Миколка. Чумазый от копоти, зареванный, но живой! Оказывается, когда фрицы принялись поджигать поле, швыдким ползком, насколько хватало силенок, он рванул в противоположный конец, а там кубарем с оврага — и в бор; добежал до пруда и, юркнув под мостки, затаился.

Переждав в бору ночь, лишь на другой день осмелился прокрасться когда-то показанными Аленкой потайными тропами вдоль заросшего дикой травью ручья до Маланичей.

Как потом оказалось, немцы в тот день угнали не всех. Понимая, какую участь уготовили они жителям деревни, многие еще с вечера попрятались. На розыски у фрицев не оказалось времени: успеть бы свою шкуру спасти.

Немцы ушли. Им вдогонку день и ночь, не задерживаясь, шли на запад сквозь опустевшие и разграбленные Маланичи советские войска.

Лишь в первых числах ноября начали возвращаться угнанные немцами жители. Фашисты вынуждены были бросить их на полпути, так и не успев отправить в Германию.

Надо было как-то вспоминать мирную жизнь, ее годовой и каждодневный уклад. И в первую очередь, перебедовав голодную зиму, надо было весной сорок четвертого умудриться вспахать и посеять.

А тогда, в первый без немцев день, Миколка по указке сестры смотался на чердак и притащил баб-Дарьины травы. Кабы не они, еще и неизвестно: поднялась

бы она на ноги? Хотя... Наверно, и тогда бы поднялась... Куда деваться? Но пролежала бы Аленка намного дольше, это уж точно. С Божьей помощью к Рождеству ожоги на ее ноге стали заживать, а весной Аленка уже вместе со всеми деревенскими вышла лопатой копать поля — надвигалась посевная.

Маланичи пухли от голода. Под Троицу, когда уже голодным людом вся подчистую по луговинам и холмам вокруг деревни была выдрана вся более-менее съедобная трава, на урынок, где первым с краю виднелась Гурьевская хата, прибудился — каким ветром неведомо — израненный конь. Скорее всего, сжалились над ним солдатики, не застрелили, отпустили на волю, приняв во внимание все тяготы, вынесенные животиной бок о бок с ними.

Осмотрев конягу, соседский дед Трифонов вынес тогда окончательный, не подлежащий сомнению «резолют»: «Скотина к работе не годная. Не ровен час, сдохнет. Хоть и не дюжа справная, но все ж таки какой-никакой, а приварок». На том и порешили. Дед, разделив тушу поровну меж соседней, принес и Алене с Миколкой их долю.

«Да, — покачала головой Алена Тарасовна, — кабы не та-то костлявая конина... да еще ни Свиридрихина бы овца...»

Овцу ту, наверно, сиротам сам Господь послал. Свиридриха со своим полицаем, ясное дело, в Маланичи уже не вернулась. «К фрицам, видать, подалась, шалава», — судачили промеж собой бабы. Так что и спрашивать с Аленки за овцу ту было некому.

А случилось вот как. Миколка, сколько ему ни наказывай Аленка по буеракам не спастись, нет-нет да лызнет с ребятами то к рухнувшему у большака еще летом сорок первого немецкому самолету, то в поисках чего-нибудь нужного для мальчишеской мены в противотанковые рвы. Вот однажды у опушки и вышла прямо на него из бора, уже по первопутку — видать, соскучилась по человеку, — блудная Тонькина овца. Только потом вспомнили, как накануне немецкого отступления эта полицаихина шлындра пропала. Тонька тогда заподозрила, что кто-то из деревенских не сдержался все-таки, отловил где-то и с голодухи прирезал ее овцу. А она, бестия, видать, во бору блудила.

Так и оказалась полицаихина Чернушка на Аленном дворе. А когда выяснилось, что она еще и котна, со всей деревни собирали ей по сараям остатки сена от разграбленной немцем скотины. «Овца за Тоньку не в ответе», — постановили тогда деревенские.

Спустя срок в подклети у Аленки заблеяли две новорожденные ярочки — первые животинки, появившиеся в Маланичах после отхода фашиста.

И снова, и снова водят Алену то ли память, то ли ночные туманы по своему подворью, по бакше. Прислушивается она к голосам, которые сначала глухо, а потом все явственней долетают до ее постели сквозь время. Кажется, отец с дедом балакают... А вот и баба Дарья не стерпела, встречается в их разговор...

Кряжистый — не сказать, чтоб дюжинного роста, но и не обсевок какой — широкий в плечах и могучий духом, дед Сила до самых преклонных лет своих не выпускал из рук плуга. Разве что со скандалом, бывало, отстранит его от огородных дел, сам уж давным-давно мужик, Аленин отец: хватит, мол, батя, с тебя! Ай мало на веку попожничал? А тому и обидно. Но, как ни крути, а когда-то же надо сыну заступать в хозяйстве на его место? Пришла пора, и Аленкин отец взвалил на свои плечи самые тяжелые заботы на гурьевском подворье.

А работы на нем в любой час — не меряно. Вот, к примеру, еще с осени на огород вывозился навоз, а по весне, раскидав прелый дух хлева по подсохшей земл-

це, отец накануне Егорьева дня, испугавшись и облачившись в чистую рубаху, еще и воздуха дремали, проводил взятого на колхозной конюшне конька Валенка мимо крыльца, по сонному одуванчиковому лужку на огород.

Дед — избави Бог! — не может пропустить такого важного события. Ведь все, что он в жизни своей знал и имел, — это небольшой клочок земли в срединной России, за который Сила Леонтич держался всеми силами, стоял на нем, вращал в этот суглинок по самые колени. Еще от своего деда Сила Леонтич твердо усвоил: пока в руках у крестьянина есть хотя бы невеликий клочок земли, тот не будет лениться, семья его с голоду никогда не помрет.

Отложив свои старческие дела, — вдруг Тарас без него не справится? — дед шмыргает разбитыми валенками, которых не снимает и в Петровки, следом за сыном. «Трогай со Христом!» — не упуская случая покормить, машет Сила Леонтич в сторону бабки и трижды крестит вослед прошедшего мимо него Тараса.

Глядя на своего Силу, баба Дарья качает головой: «На Егорья выезжает и ленивая соха. То-то мужицкая душечка! И на том свете об землеце томновать будет!»

Уйдут отец с сыном на бакшу, а она — к образам: мол, уж снизойдите, помогите, Святые Угоднички, делу наиглавнейшему крестьянскому.

Зачуют важное, скатятся Степка с Егоркой с печки — тоже мужики — и скорее к своим. А то как же? Когда-нито постареет и их батянька, не удержит плуга в руках, кто ж за него заступит? А пока что можно хотя бы коня вдоль борозды поводить, прикрикнуть на него по-отцовски: «Н-но! Но, Валенок! Почудил и будя! Ходи у меня ловчее!»

Лемех, словно хлебный мякиш, ломоть за ломтем жадно жует бакшу. Смешанный с навозом и печной золой суглинок нарезается смачными пластинами легко и податливо. Но не успевает Тарас и четверти надела поднять, как взмокшая рубаха его прилипает к уже начинавшейся горбиться спине и горячий пот орошает подмышья. Солнце, успевшее вскарабкаться на верхушки призаборных кленов, обрушилось на бакшу, и пахота закурилась, унося все выше и выше на струях своего марева вешнюю звень неумолчного жаворонка.

Наконец, повалив бурьяны на противоположном от избы огороднем конце, у ржаного прикопечка, отец, притряхивая, выворачивает плуг из пашни и, давая перевести дух престарелому Валенку, пристраивается отдышаться на ракишине, подкошенной куражившимися в феврале ветродуями.

Как ни старается Аленка не нацеплять земли в новые, сплетенные дедом к Велику дню, лапти, ноги ее тонут в рыхлой, парной земле, онучи осыпает пушистое крошево. Баба Дарья наказала ей сбежать в курятник за яйцами, а потом завернуть в погреб и прихватить для работных кубан со свекольным квасом: «Чай, во ртах попереыхало!».

Навстречу сестре несетя через меру деловитый от неожиданного дедовского доверия Степка. Где бы это записать? Сила Леонтич расщедрился и, сняв с пояса ключ от заветного сундука, «за-ради нынешнего сурьезного случая» велел достать для отца из похоронки, из допотопного кованого сундука, кiset с первосортным табачком. В это «наискуснейшее» курево старик умудрялся подсыпать донник и всякие-разные духовитые травки, которые, не полагаясь даже на бабу Дарью, собирал собственноручно по лесам и лощинам вокруг Маланичей и которые, конечно же, приберегал для подобного «наиважнейшего» дня. Дед, бывало, ни в жизнь не пройдет мимо «пользительной» былинки, нет-нет да подвяжет в тенек под поветь какой-нибудь новый цветастый пучок.

«Наш паровоз вперед летит! В коммуне остановка!..» — орет что есть мочи Степка, мчит на всех парах к крыльцу. Из-под ног его разлетается собравшаяся на червячине пиришество птичья братия. Ухватив впопыхах по жирному червяку,

вскрывают и тут же пристраиваются на березовых жердинах галки-серошейки. Грачи-долбоносы, отбежав в сторонку, боят они и вовсе тут не причем, складывают за спину сизоватые свои крыла точь-в-точь как убирает свои руки осматривающий угодяя председатель колхоза, но уже через минуту с противоположного конца пашни хитрованы снова пускаются на поиски поживы. Зоркие скворцы тоже ловко выискивают не успевших зарыться в суглинок порой целых, а по большей части резаных червей. И, вырывая их из клюва друг у дружки, растягивают несчастных, словно резиновых. Не проглотив первого, уже мчат за следующим. Не промахнутся, коли в борозде блеснет и какая-нибудь жирная козявина, спроворятся подцепить даже пустившегося в лет жука. И откуда они только прознали, что Гурьевы нынче огород подняли? Кишмя кишат!

Но вот объявляется бурластый Горлопан — самый «сурьезный» надсмотрщик за гурьевским подворьем. Обнаружив, что ничейная крылатая мелочь ворует у него из-под носа сытнейший корм, кочет вскидывает воинственно свой болтающийся из стороны в сторону, вечно застывший глаза гребень и трубит общий сбор. Пеструхи, оттеснив на зады чужаков и судача на ходу о чем-то своем, курином, швыдким «бегом» разбредаются по бороздам, принимаются доискивать еще не успевшую удрать земляную мелюзгу.

13

Порой прошлое рассыпается в мельчайшую пыль. Ничегошеньки Алене Тарасовне в нем не рассмотреть, не расслышать, а порой оно прямо — таки как на ладони — ясное и понятное, словно перевернутая плугом внешняя земля — вся как есть, до крохи знакомая и родная, старушкиными руками несчетно раз перенянченная и перететешканная.

...Когда приходит черед прогуляться по вспаханному огороду бороне, отец на зависть Степке с Егоркой подсаживает на коня Аленку, сам шагает рядом, толкует с дочерью: мол, окромя всяких прочих, важных для вашей слабосильной сестры дел, с конем управляться баба наша завсегда умела, и тебе, Аленка, эта наука пусть тоже будет не в тягость. «Уж поверь мне, дочура, — приглаживая разбало-ванные ветерком ее льняные волосики, теплеет душой отец, — она тебе никогда не помешает. Братья-то с конем управляться по-любому навостряются. Вон как в прошлом годе на покосах вламывали, иному мужику не уступали! Не смотри, что первостатейные озоры и частенько кнут по ним плачет, хлеб-то свой братья твои не задарма жуют».

Валенок — коняга бывалый, борону тащит, что игрушкой играет. Ступает уверенно, лишний раз не колыхнет, видать, чует на себе свою любимицу. Кто-кто, а конь добра никогда не забывает. Ведь и дня не проходит, чтобы не угостила его Аленка присоленной хлебной корочкой или хвостиком бурачка, а уж сколько сочного молочника с огородных гряд Валенку на конюшню перетаскала — так и не упомянуть.

А ведь прав был Тарас Силыч. Как в воду глядел! Ох как пригодилась эта да и многие другие мужицкие науки его дочери! Сколько раз на веку вспоминала она добрым словом отцовские наставленья.

Крестьянским двором жить — мно-о-ого чего разуметь надобно, и чем больше того разуменья, тем крепче хозяйство. Тут все сноровки — в дело, порой и грани промеж них не сыскать. За все сызмальства берись, за все хватайся, во все вникай, потому как вырастешь, никто со стороны не придет, никто не поможет, подворье твое, и ты за все живое и мертвое на нем в ответе. Какой уж тут дележ: мужицкие ли заботы, бабы ли?

В Маланичах говорят: мол, куда важнее не судьба человека, а то, что он о ней

мыслит. Вот и Алена всю жизнь старалась не столько одолевая судьбу, сколько сама себя, потому как не верилось ей, что все происходит от судьбы. Ведь как ни прикинь, а было, было что-то еще и такое, что находилось в ее собственной власти.

Опереться особо и правда Алене Тарасовне не случалось на кого. Разве что на Господа? Но простит ли ее Всемилостивый? Водился за Аленой неотмоленный грешок, точно знает за собой, водился. Частенько для пущей надежды подыметесь она, бывало, с колен от Божнички, выйдет, к примеру, на другой день после посадки картошки на дальние концы грядок, чтобы гарбуза сеять, да и не стерпит, подвожат.

И не то чтобы на Господа не полагалась, об этом даже подумав страсть, скорее всего, нечистый, покуль Боженька отвернется, смущал. Рази ж одна она у Боженьки-то? Видать, анчибел вмешивался. А скорее всего, страх перед бескормицей. Повернется, бывало, Алена навстречу восходящему солнышку и — бай да побай — зашепчет, как шептали когда-то и ее мать, и бабка, и прапрабабка:

Гой, Ярило-свет! Благослови сей плод на рост, на цвет!
Позволь ему и мороз выстоять, и жарень переждать.
Напой его соком жизненным, избавь от напастей лихих!
Будьте, слова мои, крепки и лепки,
Тверже камня, лепче воску,
Сольчей соли, вострей меча-самосека, крепче булата!
Что задумано, то исполнится! Аминь!

А что до гарбуза, так он — кому ж в деревне нашенской неизвестно? — всем фруктам фрукт, всем овощам овощ! Кабы не картохи да этот «рыжебрюхий», которого аж до Спиридона, до самого Солнцеворота хватало, как сказать... как сказать, сдюжили бы вообще Маланичи в лихие години.

Но в отличие от неприхотливой картошки, которую порой даже из «глазков» спроворивались выхаживать, гарбуз — это вам не абы кто. Любит пузатый себя незнамо как: и морозов-то он на дух не переносит, и навоз «жрет» — за мое почтение, а семена его даже и не придумать пуще какого злого произволения бояться всяческих мышей-полевок.

Приходилось, конечно, весной и в летнюю пору попотеть, но все труды того стоят, чтобы по осени где-нибудь к Воздвиженью порадоваться, принести в избу, распихать под лавки и в подпечье пару-тройку десятков сладких, напитанных светом и вольным огородным духом солнц. Правда, год на год не приходится. Но тут уж как посчастливится: порой уродятся гарбуза с небольшой чугунок, а порой совершенно неподъемные, тогда только котушкой да волоком.

Алена, помня, с каким почтением относились завсегда в Маланичах к гарбузам, тоже немало места на своем огороде отводила этому лежебоке, особенно по его закрайкам — там, где нынче по ее малосильству и недогляду уже проявились хиленькие всходы сосенника. Сгруит, бывало, как для путящего добро унавоженную грядь, даст ей до пару прогреться, протомиться, так, чтобы аж синюшками обсеялась, малюсенькими такими грибочками-однодневками на ножках-иглолках, худенькими, в чем дух держится.

Как перемрут эти дохлячки, как взопреет, значит, навозец — самое время забирать с подоконника плошку с завернутыми в мокрую тряпицу гарбузными семушками. Не напрасно они вылеживались в темноте да в тепле, ишь, как закопошились, даже хвостики из приоткрытой шелушки высунули, на волю нет мочи как просятся, того гляди поскидают одежки, так голышами и станут часу своего дожидаться.

Алене Тарасовне припоминается то нетерпение, с которым каждый раз прохо-

дила она мимо засеянных гарбузными семенами гряд. Нет и нет в припорошенной землицей ямочке ростков, что ты будешь делать?! Травница всякая-разная: пырей, лебеда прет, не удержать, а гарбузного росточка и видом не видывать, и слыхом не слыхивать! Уж не мышкота ли спроворилась?

Но вот наконец земляца над распарившемся в сырости семечком трескается, из расхалилеянной щелки высовывается крошечный бледно-зеленый клювик и начинает крутиться посолонь, принохиваться: мол, туда ли я попал, а как тут у вас обстоят дела с холодами, может, снова — пока не поздно — нырнуть в спасительную берложку да переждать? Но осмотревшись, клювик от удивления, что с первого разу очутился там, где и следовало, разевывается и пускается в безудержный восторг — гарбуз, оказывается, еще тот шалун, все длиннее и развязней высовывает, дразнясь, свой язык, стараясь дотянуться им, шершавистым, до других гряд.

Пройдет пол-лета, и однажды, окучивая картошку, взглянет ненароком Алена на уютные гарбузные грядки, и станет ей жмурко от крупнющих, с чайное блюдо, ярко-рыжих цветов, осыпавших размашистые, возмужавшие плети.

В природе, как известно, всему свой черед: подспеют дни, скукожатся эти жаркие цветы, а на их месте объявится сначала крошечная пуговка, потом — кукишек, потом — кулачок, а там и, Бог даст, пустится добреть, толстеть и пузатеть где белый в зеленую крапку, где золотистый в коричневую мушку, а где и вовсе огненный — гарбуз.

По правильно-то, учил как-то баб колхозный агроном, штуковина эта огорода «тыквой» прозывается. «Скажешь тоже, Андрейч! Не-е! Мы уж по-свойски, не к чему переиначивать, — засопротивилась новости тогда Алена Тарасовна. — «Гарбуз» — ведь куда как теплее и роднее».

14

Гарбуз — не огурец, с огорода его до сроку не снимешь, да и ребятня на него не зарится: не шныряет вокруг него, не высматривает, совершая набеги, когда объявится первенький зелепупочек, а значит, не топчет ни листвы его, ни бечевок. Но зато по осени, в ту пору, когда озлятся, не желая засыпать, сытые мухи, когда у сваленных под амбаром в высоченную гору гарбузов подсохнут хвостики, когда войдут они в самую сладость, нет в Маланичах подворья, где бы, подстелив под приглянувшийся желтопуз дерюжинку — чтобы не растерять, не запачкать семян, — да-да, это уж точно: нет в деревне по ту пору хозяйки, чтобы не колола на ранней заре на подворье гарбуза.

Это теперь Алене Тарасовне и с кровати подняться в тягость, все шварк да шварк бурками, а, бывало-то, она и за труд эту гарбузную возню не считала. В предрассветной темени, порывшись наощупь в разваленном надвое волокнистом брюхе этой самой тыквы и растопырив пальцы расческой, выгребала она сладкие, липкие от сока молочно-белые семушки.

Приподняв домотканые подстилки, рассыпала добыток прожариваться на огненные печные кирпичи. И ребятне — забава, и себе — «меж делов поклевать».

Но это еще не все. Возвратившись во двор, легким топориком рубила она на дольки духовитые половинки опустошенного гарбуза, укладывала их — месяц за месяцем, по кругу на большущие чугуночные крышки-сковородники — и задвигала поближе к углям в сомлевшую печь.

Спустя пару часов, когда корочки долек истончатся и запекутся до темно-коричневого цвета, а мякоть превратится в засахаренный мед, Аленины сыны, как и она когда-то за столом деда Силы Леонтича, трескают гарбузятину — за уши не оттащишь.

Но чаще всего — да, почитай, и дня не обходилось с Воздвиженья до конца Филлипова поста — в Алениной печи стряпалась гарбузня. О! Кто не пробовал этой каши, тот вообще не знает толка в нашенской еде. Рассказать о ней словами — и не расскажешь. Гарбузню надо пробовать — и не раз, не два, а пока, пресытившись, не зарубишь себе на носу, что вкуснее ее на всем белом свете, хоть тыщу лет ищи — не сыщешь! А всего-то: тыква, да молоко, да пшенка. Без гарбузни по осенской стылости — точно так же, как без окрошки в летнюю жарень: и Маланичи — не Маланичи.

Гарбузня, что и говорить, — стряпня отменная, но и ею одной сыт не будешь. «Хочь и не до особых разносолов бабе деревенской, — скажет, бывало, баба Дарья, — но даже на самую простецкую похлебку, и на ту всяка-разна овощ полагается».

И снова, не спросившись у хозяйки, юркает Аленина память в молодые довоенные годы. И шныряет там, на вольной воле, будто и знать не желает, пронырливая, о подкатывавшейся к Алениным цыпочным ногам стопудовой рассудьбинушке.

...Мать спозаранку в поле, отец и дед тоже в работах, в одиночку бабule с огородом, «хочь пуп развяжи», не справиться. А еще погодки малые на руках! Вот и спровадит она старшеньких — Степку с Егоркой да в придачу малую Аленку на гряды, накажет, что полить, что прополоть.

А солнце — красномордое-е! — того гляди от жары треснет! И грядок впереди, кажется приморенной детвора, — видно-невидимо! Ну так их и впрямь немало: как у печи без лука-чеснока, без картошки-моркови, да хоть без того же укропа?

Без них и бакша в Маланичах не бакша. Взять хотя бы, к примеру, огурцы. Может, чтобы детвора не чередила, опупками незрелыми не обирала, сеяли их по обычаю на самом виду, на середке огорода, где день-деньской кругло перекатывало солнышко.

Хоть и всходили они «по струнке», со временем строй их становился нескладным. Усами и плетями пробирались они на чужие места, ныряли под капустные лопухи, проползали под развесистыми «ухами» свекольника, опутывали кукурузные и подсолнечные будылья, лезли на самые их макушки. «Ишь, шалые, расхорохорились! Не остепени — на само небушко вскарабкаются», — серчала на разбушевавшиеся огуречные заросли баба Дарья и нещадно прищипывала им хвосты.

Ближе к избе, у самого края огорода, чтоб далеко не бегать, — самые наиважнейшие овощи: репчатый лук и чеснок. Дед Сила, ставивший этот злючий «хрукт», по обычаю, на самое заглавное место, брал его под свой надзор: нарубал в терновнике закорявистых веток и укрывал ими грядки. «Пуцай теперь спробуют, а то ишь, повадились оглоеды, места им другого нет!» — кышкал он пеструшек, полюбивших чухахаться в пыли посередь луковых и чесночных гряд.

Помидоры же в довоенные годы почему-то в Маланичах были в диковинку. Бабы насыбывали ведра яиц и несли их «на меню», ведро яиц на ведро помидоров; поначалу на подворье батюшки Агафона, а как церкви в двадцать седьмом не стало, как увезли священника, все оборачивавшегося на Поповку и возносившего священные руки ко лбу, под Роштво на прикинутых грязной дерюжиной саях неведомо куда, стали похаживать к учительке.

Ну это уже позже, когда в барском доме открылась семилетка. Таким же ручейком потекли деревенские со своим продуктом к старшей дочке бывшего маланичского барина Кречетова Елизавете Климовне, начальствовавшей в школе. Кроме батюшки да учительки, никто помидорами, этой невидалью, в округе не занимался.

Правда, упрямо из года в год — «быть такого не может, чтоб не получилось!» —

баба Дарья мучила себя и своих подручных выныачиванием этого желанного овоща из «выпущенных» в тряпицу помидорных семян.

Окошки в избе деда Силы — что твое блюдо. Проклюнется в проеденном печной жизнью, заполненном землею вперемешку с торфом чугуночке в марте из семечка росточек, и тянется он, бледно-поганенький, в чем дух держится, к свету. И все бы ничего, может, какой толк и случился бы из этой квелой былинки, но вот же незадача! Надломится ненароком листок, и пойдет от него такой дух, по правде сказать, скорее, вонь, ровно от пролитой склянки из саквояжа фельдшера Кириллы Сергеича. Однажды приходил он поднять на ноги страдавшего животиком меньшого Николку.

Облоухий³, разморенный в тепле котан Хомка, очумевший от этого духа, шаркнул, роняя связки лука, с припечка прямо на раскрытый пузырек.

Ну так вот, значит, диво дивное! Полюбились эти вонючие стебельки котану. Стоит только отвернуться, он тут как тут и шасть в подоконник. Затаится, коли не уследить, и подчистую, под самый корешок, прикрываясь хрипастым тиканьем ходиков, измумлит дорогую бабулиному сердцу травинку. А что не успеет сожрать, пренебреженно изломает, шkodная душонка.

Пойманного на месте преступления Хомку осерженная не передать как баба Дарья подхватит за хибот, ругательски изругает и запрет «постылого» дня на два в чулан, посадив лишь на воду и мышей, пресекая любую попытку детворы подкормить «рестанта» «хоть пескаринными головками, ну хоть сывороточкой», на том дело до следующего марта и успокоится.

Если не брать в расчет марковку, эту извечную дитячью сласть, то поперед всех огородних обитателей, кого признает своею даже младенчик, считает Алена Тарасовна, а ей-то уж, поди, можно довериться, так вот, одним из самых любимых овощей для ребятни, была, да и сейчас, наверно, вспоминают о ней мамки-няньки, конечно же — свекла. И к гадалке не ходи!

В первую-то стежку, ясное дело, не сахарный бурак, а красная, бордовая, малиновая свеклица. От которой еще ни один ребяенок не отвернулся. Как откажешься-то, когда она вскормила-вспоила в Маланичах, укажи пальцем, не ошибешься — любого-каждого?

Бывало, дел у бабы Дарьи и матери — по горло, натрут они этой самой свеклы, завяжут покрепче наполненный ею тряпичный узелочек, сунет Аленка эдакую мумку одну Лидушке, другую Николке, глядишь — и тишина, и «рай летают».

Подкачивает Аленка, «ослобонив» старших, зыбки и сама тоже паренюю свеклу за обе щеки уплетает.

А бурак что ж?.. На пробу-то и ничем не хуже красной свеклы. Наварит-напарит, бывало, баба Дарья двухведерный чугунок для сарайных, а ребята дерг да дерг из-под крышки по толстеному бело-сахарному корешку. Лучше и не пожелать!

Как ни крути, но о чем и вспоминать-то старушке, если не о том, что пестовала она на своей бакше? Вся Аленина жизнь протопталась тучочки: меж гряд, на подворье, на раскинутых во все стороны от Маланичей колхозных полях, где та же морковь, та же свекла да картошка. А за нами ведь уход да уход. Алена Тарасовна уж и не припомнит тот день, когда в руках ее не было тяпки, лопаты или вил. Оттого, наверно, у старушки от многолетней привычки и отшлифованные ими руки не знают мозолей.

Старшие Гурьевы приучали свою ребятню к крестьянским делам незаметно,

³Облоухий — вислоухий.

исподволь. К примеру, в самую осеннюю разнородицу, когда не то, чтоб вдоль Маланичей «шлындрачь», — до ветру в заперожную мокрень не выскочить; чтобы детвора «не давила со скуки клопов в запечье», баба Дарья, а то и сама мать, приносила из сарая плетушки три стручковой «квасоли», просушенной в бабье лето на сарайной крыше аж до каляного хрсту. Вроде и забава, но какая подмога в хозяйстве! У бабы Дарьи и матери до «квасоли» извечно руки не доходили.

И вот отыскивалась большущая «люминевая» макитра, ребятня усаживалась кружком и принималась наперебой лущить эту «кухонную надобь». Как маломальски подсоберется горочка, фасоль ссыпается детячьими пригоршнями в загодя выстиранные бабулей прошлогодние холщовые мешочки.

Перевязав их веревочкой, Степка, как самый высокий, дотягивался до печного кожуха и, перекладывая «от шашала» пучками полыни, загодя наломанными в овраге за мыльней, водружал продукт на верхи для пущей просушки. Звенела, щелкала о макитру фасоль, щebetали, не смолкая, детские, еще умевшие радоваться любой пустячной радости, голоса.

Помнит Алена Тарасовна, к примеру, и с каким жаром они с братьями на этих «квасольных» посиделках вели разговоры о невиданном по тому времени в деревне чуде — фильме «Броненосец “Потемкин”», добытом в районе всеми правдами и неправдами председателем Сошниковым. Тогда, после просмотра, до зари не спала вся деревня, да и потом, почитай, несколько месяцев кряду ни о чем другом на улочках Маланичей не говорилось.

...С землею не балуют, на ней заботятся, как о бабе-роженице, она, родимая, ведь тоже «каждый Боженный годик» на сносях. Не побережешь, не досмотришь — и не разродится в положенный срок она добрым урожаем, и как тогда тянуть семье до следующей новины? Потому земляца никогда не пустовала. Любый старательно обихожанный ее вершок был приспособлен под не ту, так другую «дельную дель».

А потому не самое последнее место на гурьевском огороде отводилось и капусте. Ни к лакомствам, ни к разносолам овощ эту, конечно, не откатишь, но нет того погреба в Маланичах с самых давних времен и по сей день, чтобы не стояла в нем одна, а то и две бочки отменной квашенки. Буден ли день, праздник ли, хоть советский, хоть церковный — без капусты квашеной и застолье в деревне не застолье.

С калиной и антоновкой, с анисом и свеклой — у каждой хозяйки она своя, особая, с какой-нибудь потаенной добавочкой, только этим семейством облюбованной. Гурьевы, к примеру, любили квасить белокочанную в пору, когда сосняки за Переплюем осыплются розовато-молочными пуговками рыжиков. Лопушистый гриб в эту засолку не годится — разомлевет в крутом капустном рассоле, а вот крохотные — ложкой пару подцепить — самое то!

Летом-то, когда приварку в небогатой гурьевской избе особого не сыскать, в печи томились щи из сныти, из щавеля, не в редкую стежку — из крапивы. В зимнюю же пору какие щи, если не из капусты? Она, кормилица, продукт первостатейный: и на варево, и на засолку, а ребятне и кочерыгой всласть похрустеть — любо-дорого!

Потому и пригляд за ней, добродородицей, покуда в рост идет, особый. Ну так, как говорится: что потопашешь, то и полопашешь. Гурьевы поговорку эту на своих хребтах испытали — во все века жили только землей да собственными руками.

Так о капусте-то... Не дай ей летней порой вволю напиться, так и получишь по осени не полупудовый скрипучий вилок, а малю-юсенький писклявый кулачишко. Переплюй — ручей толковый, на такое дело водицы не жалел: таскай, ребятня, ведерками, бидонами, кто чем осилит, холь да пестуй воздухолебку! Но не забы-

вай и за капустницами, этими настырными бабочками, доглядывать: с неокрепших кочанов гонять, золой печной от их детвы — гусениц — осыпать, а коли не успел и все-таки объявится эта зеленая прожорливая насекомь, уж сделай милость, не ленись, поклоняйся да собери, да покуда не расползлись — прямым ходом в костровище.

Память, она ведь не шелковая, не петуховы перья — штука суровая, не спозволит Алене Тарасовне, разобрав ее жизнь по косточкам, когда уже и под сердцем холодеет, чего скомкать или того хуже — «чего лишнего намолоть». Да и какой резон теперь, на самом крайнем краю, когда столько свечей Богородице переставила, незнамо что выдумывать. Пустобайкой Алена — с места не сойти! — никогда не слыла. Скорее, наоборот, молчуньей. А уж нынче ей ну никак не личит разводить никчемные балясы.

...Ртов у Гурьевых — ни много ни мало под десяток. Помнит старушка: у нас ведь так веками велось, внукам от дедов с потом, с кровью, с молоком материнским, с краухой хлебной уменья передавались. «Детвора деревенская, — опять всколыхнулись в Алене Тарасовне родительские наученья, — и не замечала, как впрягалась в общие работы. Насколько силенок хватало, настолько и припопсывали тебе дело. Поначалу пусть самое малое: ржицы пеструхам за-ради баловства посыпать. Котана до цыплят не допускать. Разве не помощь? Еще какая!

Подрастет надежа-сын, коли в разум войдет да усвоит отцовскую науку, переделуешь все иконы, потому как подхватит у батьки он навильни с сеном, станет за плуг, а это уже подмога не пустяшная.

Выдурится, войдет в лета дочь, коли умудрит ее Господь, коли путная — у печи, на огороде, на подворье — цены ей не будет, и подыметя тепло, глядя на нее, к самому сердцу.

Аленина память — что с ней поделать? И она одряхла — то перескочит с одного года на другой, то запнется и попутает весну с осенью, а частенько возвращается к одному и тому же дню, врезавшемуся в нее чем-то особенным, а может, слившемуся из нескольких, схожих друг с другом, словно близняшки.

...Вот, годков, кажется, семи, начухавшись — мать и баба Дарья еще в мыльне, — приостановилась она, лапотки через плечо, на полпути в избу под высоченными звездами посередь огорода. Невидимые кузнечики вусмерть застрекотали позднюю летнюю зарю. Дикий калашник, половиком разостлавшийся по меже, дробными колесиками перекатывается под распаренными ступнями. А они все еще горят, все еще пылают, протертые до дыр бабой Дарьей вышелушенным прошлогодним подсолнухом «от цып» и смазанные топленным нутряным жиром.

С лопушастого свекольника, с размашистой листвы дедова любимца-хрена на стежку котушком, одна за другой, сползают, бьются вдрызг крупные бусины росы. Если прислушаться, то учуешь, как им наперебой оставленная бабой Дарьей «от всякой-разной напасти», недавно потерявшая свой малахитовый цвет, лебеда роняет наземь скукоженную крупку.

Павшая под густой росой крапива не жалит босых ног, присмирела, лежит себе, будто шелковая. Но Аленку не проведешь: норов свой, злючий, лишь только солнце воскрылит да просушит мураву — вмиг, коварная, проявит.

Ноги у девчушки по самые колени промокли, но ей не привыкать! Не раз водила ее баба Дарья босой по утренней росе в луга. Зачем и для чего — так и не открыла, но, пустив внучонку вперед, дробно-дробно крестила вослед и все о чем-то шепталась, шепталась: то с окунувшимся в Переплюю облиялым месяцем, то с расплескавшейся лазоревым цветом заутреней.

Когда Аленина душа соскучивалась по чудесам, девчонка отправлялась не за

тридцать земель, а все в тот же собственный огород. Да хотя бы в правый, поросший дикой малиной угол. Птицы, наверно, перелетывая из одного леса в другой, обронили как-то над ним ягоду, а она возьми да прикоренись, да народи у раки-тового тына ни много ни мало сотки в полторы малинник. Посреди его зарослей притулилась еще и яблонька-дичка, по всему видать, объявившаяся здесь таким же макаром.

А как вошло деревце в лучший возраст, как стало оно по весне осыпаться нежно-розовым цветом, а к Воздвиженью под ней земли не видать, стала устилаться дробными огнецветными яблочками; прилудилась, значит, как-то раз под эту самую яблоню, видать, из соседнего бора, ежика. И по всей вероятности, прижилась под ней не одна.

На следующее пролете, возвращаясь из мыльни, натолкнулась как-то Аленка на ее выводок. Чудеса в решете! Топают вслед за мамашкой вдоль межи, да так-то бойко, так-то уверенно, словно каждый капустный кочан, каждая огуречная грядка на гурьевском огороде им выдана в собственную собственность. Шныряют себе, где вздумается, едят все, что пожелается.

16

Вьется, вьется не выцветающим домотканым половиком узкая стежка... вдоль бакши она вьется или вдоль Алениной судьбы? Или это все же выплывается ее тонкий прозрачный старческий сон?

Завяжи Алене сейчас глаза, даже спустя уйму лет сумеет не обмишуриться, с первого погляду укажет одно из своих самых заветных мест на гурьевском подворье. Если посередь бакши повернуть и межой обочь луковых гряд подойти к кусту черной бузины, что вымахал выше ореховой горожи, выше всех остальных огородных обитателей, можно кой-кого обнаружить.

Каждую пахоту дед грозитя этот куст срубить, а баба Дарья, прижавшись спиной к ветвям и разведя руки в стороны, его не дает в обиду. Растарачится и вступает за бузинник, словно клуша за свой выводок. По ее словам, «помочи от той-то бузины больше, чем от самого деда Силы».

Так вот, если тихонечко прокрасться к этому кусту, то в его зарослях, на самой предельной ветке, что прикрыта от глаз порослью всякого-разного вьюна и дурнопьяна, каждый апрель несколько лет кряду из сухих корешков и травинок обустроивает себе гнездо удивительная птица — голубая сойка. Бабушка, правда, бывало, когда завидит ее над огородом, кличет по-свойски «соя».

А птица эта и впрямь расчудесная — из себя голубоватая, а подбрюшье слегка коричневое, цвета пеночки из топленого в печи молока. Шейка — белым белая с черными нитками ожерелок. На головке — малюсенький гребешок; чуть что заподозрит сойка неладное — взъерошит, вскинет его, крохотный: видать, думает, что вусмерть им врага запугает. А то и вовсе — ка-ак начнет ворчать: и по-собачьему, и по-кошачьему, и еще по-другому, такому, по какому выучилась.

Кончики крылышек у нее окунуты в небесную краску, и окружя глаз голубые-преголубые! Так и горят они, так и сияют! А под клювом у нее, будто усики, две черные полосочки. «Не птичка, а картинка!» — скажет, бывало, об Аленкиной сойке баба Дарья.

Вот отчего-то припомнилось вдруг Алене и такая картинка. Спустя две, а то три недели как пичужка усядется на гнездо, девчонка, бывало, обнаруживала на земле скорлупки зеленоватых, с серо-бурыми пятнышками, меньше лещинного орешка, яиц. В гнезде тонюсенько под раскрытавившейся мамкой попискивали голые новорожденные птенчики, а суматошный родитель носился над грядками, собирая для своей детвы червячий и блошиный прикорм.

Бывает, пропадет сой в дубняке за околицей, нет и нет. Уже и хозяйка его забеспокоится — как не затревожиться-то? Эвон сколько котов в деревне, да и своей сестры, птицы хищной, вдосталь, возьми хоть того же ястреба, что обретается в ближнем сосняке. «Не переживай, сойка, — успокаивает, бывало, птичку Аленка, — куда он от семьи денется, сколь годков уже вместе?»

А и то правда, прислушается Аленка: «Кре-кре-рахх-рахх!» — объявился, жив-здоров кормилец. Так и мало того — желудей натащил — даже лететь не может, «пехом чешет», корму — есть не хочу. «Под языком-то у него, — усмотрела Аленка, — цельный мешок для таких переносок имеется».

Мужичок у сойки хоть сам — в чем душа держится, а заботливый, такого днем с огнем поискать. И тут, и там у соя припасы. И правильно! Обернуться не успеешь: крот в землю уйдет, повиснет на кустах седое бороде повилик — уж и заходит, летать туда-сюда, на юга да в обратку, умаешься, легче поднабить закрома да перебедровать лихое время в своем доме.

А то вот тоже был случай. Прижилась как-то еще одна птичка-невеличка на гурьевском подворье, которая оставила в Алениной памяти свой, особый, след.

На самых дальних закрайках огорода, куда не успевал дотянуться Аленин отец литовкой, летом стена стеной вставало лопушиное царство. С приходом осени, задолго до Покрова, над пожухлой листвой в растарашенных будьях цеплоче-го репейника вызревали дробнюсенские семушки, как потом оказалось — любимое щеглиное лакомство.

Сыздревле в Маланичах велось, да, видно, уж и никогда не изживется — каждый уважающий себя хозяин хоть одну певчую птицу в своей избе, но держал, а по большей-то части и три, и пять, уж кому как нравилось.

Хорошего певуна завести — дело не такое уж и простецкое. Ловили их маланичские мужики со знанием дела десятками, а в избе оставался самый голосистый, самый разыскусный. Птица эта к холодам нашенским совершенно не приспособлена, потому остальных, не прошедших проверку за зиму, жалеючи отпускали за ненадобностью на улицу — лишь на Благовещенье, как потеплеет.

Вот и отец Аленин не стерпел: мол, что ж это мы себе до сей поры певуна не завели? Наделал из конского волоса силков да приладил их в загородных репейниках. Поначалу-то в избе появились сразу пять щеголков, но уже после Рождества стало ясно: только один из них гурьевскую избу принял за дом родной. Пока не приживутся щеглы, пока не доверятся — хоть в лепешку расшибись, не запоят и голоса не подадут. Капризные-е, не приведи Господь!

Весна в тот год выдалась ранним-ранняя, и уже на Сороки выпустили четырех птичек на волю. Щеголю же, так прозвали оставшегося в избе певца, дед Сила сладил такую клетку, что вся деревня приходила полюбоваться. «Так и в коня корм!» — не столько клеткой, сколько ее жильцом гордился старик.

Как обменивались, пропивая калым, маланичские мужики гусаками, точно так же с азартом выпрашивали они друг у друга пришедшихся по душе голосистых щеглов. Не раз и не один из них стучался и к Гурьевым, сыпал словами: мол, уступи ты, Тарас Силантич, Христом Богом прошу, своего Щеголя за любую цену, с любым прицепом. «Ан нетушки, — отбивался, стоял на своем отец, — такой разумница и себе в надобность!»

Полюбился щеголек и старым, и малым, привязались Гурьевы к нему всеми сердцами — с песнями его вставали, с ними и ложились. Может, кто сглазил, попустосмешничал, да, к примеру, хоть бы тот же сосед Кузьма, — эдакой змей-полз! — недаром его Косьяном Завистником на деревне кличут. Под Петровки стряслась на гурьевском подворье беда, о которой не смогла позабыть Алена Тарасовна до самых последних своих годиков.

А случилось-то вот что. Видно, ранняя весна сказалась: Пасха в тот год пришла, но уж когда-когда отсеялись, а в июле на Маланичи обрушилась такая жарница, что и продыхнуть невозможно. Никла, поливай не поливай, вся огорожина, жухли травы в лугах, «чаврели» на корню в полях хлеба. Мухи — и те попрятались.

Щеголь присмирел в душноте избы, и белый свет ему не в радость. Отец вынес клетку на крыльцо, повесил на крюк да и ушел себе по делам. В избе щегол жил-поживал на недосыгаемой для дотошного котана высоте, и клетка особо не запиралась, простого «чепочка» было придостаточно.

Видать, давно рыжемордый задумал эту пакость, только не подворачивался случай. Воробьев ему, прожоре, в палисаде мало, яичек в курятнике не наелся, мяска щеголиного захотелось. Лызь-лызь по крылечному столбу, с него прыг — на балку, оседлал клетку и давай за Щеголем охотится. Цеплял, цеплял за прутья лапами, пока дверца не открылась, хватъ скоропалительно птичку — вскрикнул истошным голосом и отпелся Щеголь, и запнулась его песня на полтрели.

Тут-то и застала баба Дарья kota на месте преступления, тут-то и попался он под ее праведную руку. Измызганного Щеголя вызволила, но куда там! Изломал, измял его котище — и косточки живой не оставил.

До сих пор отчетливо памятно Алене Тарасовне: два дня, завернув в тряпицу, рыдала она, пытаясь выходить певуна. И пшеном свежим угощала, и изо рта поила — не оклемался Щеголь, угас, закатил глазки, «сердешнай», и помер. Баба Дарья, учинив над «убивцем» за темные его делишки расправу, отлупцевала «сотана» голиком и, как частенько бывало, спровадила в чулан под замок.

После того случая — очень уж жалковали все о певуне — больше никогда не неволили Гурьевы в своей избе птиц: в клетке-то им, случись какая беда, да хоть тот же пожар, хоть опять котан допнется, ни в жизнь не спаслись. И по сей день как вспомнит о Щеголе Аленка, так и занает под сердцем — не уберегли, а ведь он, хоть и крошечная, а тоже Божья тваринка, только куда беззащитней, чем человек. То-то и оно...

17

Уж и луна таращиться сквозь тюлевые дырочки устала, и густая чернильная бездна над призаборными ракушками проредилась, напрочь вылиняла. Не идет к Алене сон, что тут поделаешь? Снова по кругу друг за дружкой, потом и впере-мешку водят ее воспоминания, все мозоли оттоптали. То четко так проявятся первые послевоенные годы, то снова, как наяву, осыпанные таволгой и медушником детские, а то вдруг выплывет совсем недавнее.

...Года три назад — видать, сговорились — нагрязнули сыны, да со снохами, да со своими выводками! «И Микола с дочками и детворой прикатил, — довольная улыбка озаряет Аленино, уже изрядно подпорченное старческими бороздами и «рябушками», лицо, — аж из самого Севастополю!.. Его ведь, братишку-то, как забрали на действительную во флот, так он к морю тому на всю жистюжку и причепился. Считай, обженился на нем, даже Галинку свою разлюбю — и ту в один ряд с морем не ставит... Теперь-то уж и он давно на пенсии. Так, поди, и пора, сколько можно вплавь да вплавь, пора и пешочком походить. Нет такого места на земле, где бы ни побывала его неумная душечка».

Какая же счастливая была для Алены та неделя, прям-таки Богом поцелованная! Старенький гурьевский домишко снова, как в лучшие времена, гудья гудел! И все — свои, все — родненькие! Конечно, не забыли тогда и на погост сходить, крестам родным поклониться: и деду Силе, и бабе Дарье, и мамыньке Мару-

се, и сестричке Лидушке, и Аленину мужу Василию... Помянули, как водится, и героев своих: и батяньку, и Степана с Егоркой.

Но, как известно, все хорошее когда-нибудь да кончается. Подошло время, разъехались Аленины гости с гостенятами по своим домам, по своим делам. Нет, конечно, сыны, и Никита, и Андрей, да и снохи с внучатами настаивали хату заколотить, к ним, значит... к любому на выбор податься. Все подговаривали, подговаривали, а потом и вовсе — усадили за стол: так, мол, мать, и так, решайся, разве можно в такие-то годки одной куковать?

«Это ж надо чего удумали? — припомнив тот разговор, снова засерчала на родных Алена Тарасовна. — А хата?.. А бакша?.. А подворок?.. А могилок со сродниками на погосте цельный ряд как без пригяду оставить?.. Куды ж я отсюдова?.. При одной мысли об этом бросает в жар... Ить у нас на деревне, как ни помысли, а все ж таки обычаи от Христа... Разишь у Гурьевых душа короткая?! Да только б выехала за околицу, из меня там же и дух вон! Так сердце б на мелкие лоскуты и разорвалося. В своей-то хате, на своей-то печке, хочь и не до песен мне, а вишь ты, все еще скриплю...»

Не-е, что не говори, а ребята у меня хорошие... вишь, денег, чтоб нужды не знала, сколь наоставляли... До сей поры нетронутые в тряпице на дне сундука лежат... А куды мне они?.. Чай, бакша-то не перестала еще кормить.

Никитка с Андреем, хоть и сами уже давно деды, у одного трое внучков, и другой не отстал — две белобрысенюльки внучонки, — а все ж таки про батьку своего Василия помнят, опять выпытывали, расспрашивали: каковой, мол, как да что. А что я им нового навспоминаю, давным-давно все порасказала. Сотый раз то же самое... Но слушают, будто впервые... И внучков усадили рядом: пушай и у них отложится... Сыны ведь, когда Васю рестовали, совсем мальцами были — одному только-только четыре сровнялось, другой и вовсе еще пешком под лавку ходил, — вздохнула старушка, — откуль им батьку-то свово помнить?»

А она помнила. Как позабудешь желанного и единственного? Были, что зазря болтать, были за долгую ее жизнь, конечно, и ухажеры. Только разве могли они стать в один ряд с ее соколом? Потому и получали, как ни тяжело ей было одной с двумя ребятишками карабкаться, каждый раз от ворот поворот.

«Жалкий мой! — захохлынет, стоном застонет сердце ее при одном упоминании мужнина имени. — И за какие только грехи выпали на твою долюшку такие муки?»

Много чего успела выпытать о военных путях-дорогах у не шибко разговорчивого Васи своего Алена за пять прожитых душа в душу лет. И уж кому-кому, а ей-то можно довериться: двадцать два месяца под немцем — ничем-ничто, сделала она «резолют», по сравнению с тем, что успел он хлебнуть на своих огненных дорогах.

Может, тогда сама свою жизнь молодка и сглазила? Все, бывало, нарадоваться не могла на мужика своего геройского да на двух прижитых от него сынов.

...Как не осталось в деревне более-менее стоящего мужика, одного за другим подреб фронт, порешили, было, бабы на сходе определить в председатели деда Степана. Тот, не поспоришь, дельный был старик. Но, — Царство ему небесное! — перебедовав оккупацию, зимы сорок четвертого, как не крепился, не сдюжил.

На его место заступила Матрена Игнатовна. Хоть и не шибко грамотная, зато работающая, не баба, а «лошадь ломовая». Командовать своей сестрой, бабой, да стариками — у всех ведь глаза есть — она напрочь не умела. «Какой из нее командер?» — засомневались даже поначалу некоторые. Зато, первой впрягаясь в ярмо, Матрена так тащила за собой плуг, что, глядя ей вослед, увиливать и прятаться по хатам уже ни у кого не доставало совести.

Худо-беда, полдеревней, а все-таки дотянули, дождалась Победного дня. Как в Маланичах узнали о конце войны — и сказ особый, и сны, если прикинуть, так может, самые счастливые из тех, что выпали на долю Алены Тарасовны.

Ее застала эта новость на запруде. Как сейчас помнит: бежит с откоса к ней Николка, рубаха пузырем, — бежит, спотыкается, подымается, припускает еще быстрее: «Аленка! Аленка! Побе-еда! Все у правления собрались, тетка Матрена велела деревню обежать, к правлению созвать!»

Отшвырнула Аленка в тальники пральник, подхвати-илась — и про постирушку свою забыла. Так и поплыли рушники ее вдоль по Желтому, через все Маланичи, до самой Кромы, и дальше, дальше... словно хотели рассказать всему белому свету о такой долгожданной, такой выстраданной нашей победе!

Вскорости, правда, мало здоровых, по большей-то части израненные, искаленные, но постепенно мужики начали возвращаться ко дворам.

На исходе лета, под самое Успенье, объявился в своей запустевшей хате и Василий. Старики его спровадили на погост еще при немце. Пятнадцатилетняя сестра Клава, Аленина подружка, надорвавшись, померла где-то на работах в Германии. Там же, на фашистской каторге, сгинула, не успев прижить от Василия даже ребяточка, — и побыла-то в замужестве всего ничего, каких-то три месяца, — первая красавица на всю округу, молодая жена его Лидия.

Не вернулись и два брата: младший Демьян остался лежать в Польше, на подступах к Кракову, а старший Григорий, отбывая действительную и попав в окружение под Киевом еще в самом начале войны, сгиб в лагере для военнопленных в небольшом украинском городишке Артемовске. Правда, до Маланичей слухи об их гибели дошли намного позже, уже после смерти и самого Василия.

А тогда-то, на другой день по его возвращении, постучалась к нему Матрена, вынула из кармана замусоленной «кухвайки» завернутую в тряпицу колхозную печать да только и сказала: «Принимай колхоз, Василий. Один ты у нас из фронтовиков цельнай, при всех ногах-руках... семьи на шею у тебя нет... повидал ты немало... как-нито приспособишься. Уж коли я эту лямку два года тянула, ты-то точно сдюжишь...

А моих бабских сил больше нетути... Петро ведь мой, небось слышал, еще зимой сорок первого под Москвой... под танк со связкой гранат кинулся, — Матрена взывала нутряным голосом, но тут же собралась с духом, утерла концом белокрайки проступившие слезы: редко кому, лишь вдруг случайным случаем удавалось видеть председательшину слабость. — Это ж надо чего натворил! Об детворе своей, видать, некогда было подумать... Не супротився, Вася, у меня без пригляду пятеро по лавкам, и все мал мала меньше».

Приперла Матрена Василия своими словами к стенке, не отвернется солдату. Не стал рассказывать о свалившихся на него самого горестях-бедах. Матрена и так о них знала. Но он, как-никак, мужик...

«Ведь ждали нас в Маланичах, — подумалось тогда Василию, — ждали, надеялись: мол, кончится война, вернутся наши с фронта, послабление бабской артели выпадет». И перекинул Василий со вдовьих плеч разоренный в лоск колхоз на свои.

А с Аленкой они сошлись очень даже просто. На Святыи встретил Василий будто бы по нечаянному случаю ее у проруби, кой-какое тряпчье полоскала. Ну, он смял сапогом папирозину, кашлянул в кулак и напрямки: так, мол, и так, Алена Тарасовна, кругалями мне ходить вкруг тебя некогда, девка ты, знаю, хорошая... помнится, с Клавдией нашей дружилась... а самое главное — дюже мне нравишься, так что выходи за меня.

Оторопела тогда Аленка, вроде и глядеть-то на нее председатель не глядел, с гулянки ни разочку, как водится, не проводил, и прям-таки сходу — замуж. Замялась девка, молчит.

— Знаю, — не унижается Василий, — староват я для тебя... Но слово фронтовика: не пожалеешь... Ты не спеши, Аленушка, подумай до Маслены.

А у Аленки-то и у самой, почитай, с его возвращения при встрече сердечушко екает.

— А чего тут Маслены дожидаться? — собрала она всю свою девичью смелость в горсть, пока какая другая жениха не перехватила, вон их сколь, недолюбленных, по Маланичам ходят! — Я вроде сама за себя ответ держу!

— Ну, коли так, каково ж твое слово?

— А придешь, как стемнеет, к нашему крыльцу, — озорно-задиристо свернула Аленка из-под полушалка, — дам тебе ответ.

Василий еле дождался сумерек. Пришел, проблудили они парочкой до свету за околицей, потолковали да и остались вместе на все время, что отвел им Господь, на пять самых отрадных лет Алениной жизни. Может, случилось бы и Никитку с Андрейкой вместе поднять... и внучат дожидаться, но... Что теперь об том сожалеть? Все сожалелки Аленины истерлись «наушпал». Лишь неизгладимым, все еще ноющим рубцом на бабьем сердце остался тот, последний их день под Зимне-го Николу сорок девятого.

18

Немца вытурили, война закончилась, но как при нем пухли с голоду, так и после Победы. Взять сорок шестой или сорок седьмой — жутко вспомнить. Не то что-бы куска хлеба в это время в обобранных оккупантами Маланичах не видели — как на беду, подкачала еще и погода, урожай — мизерный, земля не уродила ни картошки, ни другой какой овощи. А государство обложило крестьянство непомерными налогами. Не уплатишь — отберут последнюю рубашку. В избе — и без того шаром покати, а тебе — то заем, то налог, то налог, то заем.

Только по Указу 7-8, тому самому «закону о трех колосках», в Маланичах осудили на десять лет лагерей сразу четырех баб, не сжалились и над солдатской вдовой Матреной. А как все вышло-то?.. Да если бы только знато!..

В сентябре сорок седьмого случилось. Уж и к зиме мало-помалу прибрались, урожаишко — с гулькиной носик, и убирать-то, по правде говоря, нечего. Вот и сговорились бабы пошукать на сжатом поле: вдруг да обронился, заваялся какой-нито колосок. Расгереть горсточку ржицы в ступке да хоть и постную до синюшности, а все ж таки какую-никакую похлебку для ребятишек состряпать — и то для материнского сердца отрада.

Заарестовали, значит, баб, а потом — и та боль не заросла — еще одна беда вышла. До сей поры так никто и не признался о невиданной по тому жесткому времени дерзости. Оголодавший народ, какой с него спрос? Впрочем, не каждый в силе день за днем смотреть в глаза еле передвигающим ноги детям и при том разуметь закон. Вот и случилась в Маланичах беда-покража. Как раз на другой день после Воздвиженья.

Туда-сюда, перерыли все избы-амбары, кинулись, конечно, искать, кто семенной хлеб из-под пудового замка колхозной риги увел. Да куда там! Не для того брали, чтобы отдавать. Да может, и не свои это вовсе, не маланичские, может, какие залетные. Кто ж покается? Сколько оголодавшего, беспризорного люду все еще шастало тогда по разоренной фашистом земле.

Выкрали колхозный неприкосновенный запас! А спрос с кого? В первую голову — с председателя: не досмотрел в суматохе дней, не проявил бдительности.

Прикатили двое верховых, да двое в санях. Не красного слова ради, а только ради правды; не худо и заметить, что еще до свету у правления маланичцы сгуртовались всем колхозом, от мала до велика. Даже слушать собравшихся на защиту

Василия колхозников не стали. Так же, как в двадцать седьмом когда-то батюшка Агафона, в конце декабря сорок девятого — только-только забился в окна расцвет — толкнули Василия в сани и замурзыкали на большак, в волость.

«Хосподи! Может, благополучно и обошлось бы, может, и разобрались бы там, наверху-то? Чай, не дураки у власти поставлены? Ить Васенька ничем-ничегошеньки не виноватый. Почему ж его не отпустить? Да хотя бы, защитав от звонка до звонка, все как есть, фронтовые годы? — вспоминая тот день, каждый раз млея от ужаса, причитала простая как две копейки Алена Тарасовна.

Но произошло то, чего не ожидали ни провожавшие своего председателя до самой околицы маланичцы, ни охрипшая от рыданий, накричавшаяся до не могу Алена, ни сам Василий.

Еще и версты не миновали, только-только проюркнули меж реденьких, ко­рявых и заплесневелых елочек, как раз поравнялись с Гамаюновыми ра­китками, вдруг на самом узком, неразворотном месте проселка откуда ни возьмись выбегает из-за старого осокоря навстречу саням — перекрыл путь, и все тут, а снегу на обочине лошади по брюхо, не обойти, не объехать, — выскочил, значит, Аленин старшенький, а в руках, Матерь Божья! И где он только раздобыл? Граната!

— Отпустите батяньку! — кричит, а сам сопли рукавом старой фуфайки из-под носа смахивает.

— Уйди, щенок! Не суйся не в свое дело! — вскипел конвойный.

— Пока не отпустите, не пропущу! — голос у Никитки дрожит, слезы — веревкой, а стоит на своем. Вот-вот рванет за кольцо.

— Сынок! Это ж не игрушка, не балуй. Пропусти, обещаю тебе: к завтраму вернусь, — вступил было в переговоры Василий.

— Ага! Тетка Матрена вернулась? Малые дома не поднимаются, картошных лушпаек, и тех в избе не сыскать. Колька с Настькой уже два дня как побираться в Калиновку ушли, и по сей день ни слуху ни духу, небось где в сугробе примерзли! — повел совсем не детские речи Никитка.

— Дай-ка я с ним потолкую, а то и правда, не ровен час рванет, он же еще, сам видишь, от горшка два вершка, ни бельмеса не смыслит, — кинул Василий конвойному и, не дожидаясь позволения, соскочил с саней, со связанными за спиной руками двинулся к сыну.

— Стой! Вернись, тебе говорят! Стрелять буду! — и конвойный, когда уже Василий был в шаге от Никитки, передернув затвор, прицелился ему в спину.

Как его теперь судить? Выполнял приказ: конвоировал врага народа.

— А может, этот враг в сговоре со своим сыном? — наверно, мелькнуло тогда в голове конвойного, не ожидавшего такого разворота событий, — оно, пожалуй, возьмет сейчас да, воспользовавшись гранатой, сбежит, и ищи его свищи. Или еще хуже того — швырнет ее в меня.

Как все произошло, по чьему злому произволению, кто ж теперь разберет? Алена может лишь представить: окрик конвойного... перепуганного до смерти Никитку... его дрожащую, отставленную в сторону руку... бросок на гранату Василия, успевшего плечом, что было силы, столкнуть сына в заснеженный буерак...

Все еще стоявшие за околицей деревенские сначала увидели вспышку, а следом так грохнуло, будто снова вернулась война. Успели рассмотреть и во вскинувшемся к верхам ракиток снегу как-то странно подскочившего и тут же грузно рухнувшего на дорогу Василия.

Толпа охнула и рванулась к саням.

— А я что? Ах он, рассукин сын... — топтался у саней и разговаривал сам с собой ошеломленный конвойный, боясь приблизиться к Василию, когда маланичцы наконец домчались до места взрыва. — Я ить ничего, только припугнул.

Конные сопровождающие кружили над раскинувшимся, окровавленным аэстантом.

Поначалу-то Никитка вообще не разговаривал, все молчком да молчком. Но спустя время, где-то к школе, когда гибель отца стала потихоньку отдаляться, речь к мальцу вернулась. Правда, в редкую стежку, когда разволнуется, еще и сегодня говорит медленнее, а порой даже заикается.

Алене не нужно было и выпытывать у сына, откуда тот раздобыл гранату. Их, этих жутких игрушек, да и иной всяческой, приподаренной войной всячины на полях и угорьях вокруг Маланичей в те годы было — бери не хочю. Сколько ребятишек, сколько взрослого люда заберет война своим ауканьем уже в мирное время! Сколько раз будет аукать она во снах и Алену Тарасовну! Так и немудрено. Поди спроси у любого-каждого, пережившего то лихолетье, — не задумываюсь, скажет: «Избави Господи! Ведь она, злодейка, величайшее бедствие, любое страдание по сравнению с ней — ничто».

19

Да... Кабы не она, не война эта проклятушая... ведь вдогонку, а все ж таки успела Васю зацепить, смертельно зацепить...

А любил он Алену без меры. Может быть, отдавал ей все то, что накопилось за четыре года для сгнувшей в Германии жены своей Лидии. Да нет!.. Первая жена была им когда-то очень любима, но была именно женой. А с Аленой вышло как-то иначе, по-другому. Вероятно, из-за великих потерь обретение ее стало для Василия каким-то диковинным делом. Вся жизнь его повернулась на новый лад. Словно на ней, на Алене Гурьевой, взаправду клином сошелся белый свет, будто нет ей вовсе цены, потому как она стала для Василия и женой, и сестрой, и ребенком, и матерью одновременно.

Вернется, бывало, от своих нескончаемых дел Василий домой, порой далеко за полночь, но каким бы он ни был усталым, да и завтра подыматься в пять, — все одно, неумный, к ней.

Ребятишки кто на печи, кто на конике дрыхнет, а он, жаркий, к Алене — за занавеску. Пролюбятся до свету, — молодые! — передремнут полчаса, а порой и того не случалось, и снова — в работы. Вася — к себе в контору, оттуда — в поля, на стройку нового колхозного двора или еще куда-нито — мало ли у председателя заботы?

А Аленка — от баб ведь не укроешься, глаза, всклень переполненные счастьем, залюбленная, изласканная до погоды, охольнь, не могу. И хотела б, может, — вдруг да сглазят? — свою радость скрыть, да разве такое утаишь? Сердце взалхлеб ласкою клокочет, душа вот-вот голубкой — навyleт.

Помнится, спеклась Аленка от солнца и прихватило ее первеньким, Никиткой, прямо на току. А все лошади с подводами, как нарочно, даже председательская Груня — в работах. Вот-вот нависнут дожди, а каждый колосок на счету. На счастье случилось, Василий заглянул справиться: наладили ли старую, довоенную веялку.

Фельдшера в Маланичи все еще не прислали, а бабка Мотя в свои-то годы пока с другого конца деревни докондыляет, можно десять раз разродиться.

Аленка было рожать собралась прямо тут, на току, на раскинутом бабами брезенте. Что поделаешь, коли сыну стало невтерпеж, дай ему на Божий свет посмотреть, и все тут!

Вася — он такой, быстрометный! — недолго думая подхватил жену на руки и с нею через поле будьястого подсолнечника, через все Маланичи опрометью до Мотиной избы. Только сердце его у самого Алениного уха: бух-бух-бух!

Передал Аленку с рук на руки лекарке. Пришел на завалинку дух перевести. Не успел цигарку скрутить, а уж вот он, сын! Вот оно — торжество их с Аленой любви! Закричало на всю ивановскую, да так, что Мотин петух, взлетевший было на горожу продрать горло, поперхнулся и, склонив свою кустистый гребень на бок, прислушивался. А округа вдруг погрузилась в такую тишину, что бывает разве что после большого праздника.

В сынах своих Вася души не чаял. Аленка, бывало, его журит, даже по-детски заплачет: что ж, мол, ты, ай не дорого достались, награды свои мальчикам на забаву отдал? Улыбнется муж в ответ: «Да что с ними станется? Они ж железные! Не переживай, Аленушка, ты же сама знаешь: мое пережитое теперь по гробовую доску со мной».

Чтобы иметь столько орденов и медалей, понимала Аленка, на фронте мужу за спины товарищей, это уж точно, прятаться не приходилось. Да и за кого схоронишься, коли все четыре года в пехоте, в окопах, на передовой? Так пехом, по горячей земле, в полный рост, сквозь все Европы все претерпевший Василий и дотопал до Берлина.

И как же к лицу ему шли те награды! И как же отражалась в их блеске Аленина улыбка!

Война и есть война... Всяко бывало... бывало, и на крайнем краю, у смертной черты по воле врага стоял Василий. К примеру, не раз приходилось ему ходить в рукопашный, но такого боя, такого ада, как летом сорок второго под Сталинградом, ему испытать никогда потом не приходилось. И слава Богу! Навряд ли бы снова повезло. Скольких товарищей перемолол тот бой, даже вспомнить жутко!

Алене Тарасовне хорошо запомнилось то утро, когда они впервые проснулись в одной постели и Василий, еще без рубахи, в одних армейских штанах, склонился к рукомойнику. Алена подошла с чистым рушником. Спина его была убористо расшита грубым, бугорчатым узорочьем войны. Под правой лопаткой — след от пули, там же, только чуть левее, — след от немецкого ножа, и еще, и еще... А тот, длинный выпуклый наболевший шов через всю спину, — из-под Сталинграда, из адового рукопашного, когда били в фашистские морды кулаками, рубили их, супостатов, саперными лопатами, вышвыривали из окопов, поднимая на штыки, вгрызались в их гавкающие глотки зубами.

Вася старался жене о фронтовых своих делах не рассказывать. К чему теперь плохое ворошить, надо новую жизнь обустроить. Но иногда из соседнего Раздольного к нему наведывался его корешок, всю войну в одном окопе с земляком — это вам не фунт изюма, это не просто дружба, это самое, что ни на есть, кровное братство.

Не раз, то выставляя на стол для фронтового мужнина друга закуску, то присев где-нибудь неподалеку, слышала Алена их разговоры о том, как попадали они в переплеты и как выручали их простые кулачные бои, что испоконь водились в Маланичах. Летом — в воскресные дни, а потом еще — на Святках и на Масленицу. Как же те шуточные сражения «стенка на стенку» пригодились им на фронте!

Немцы, уверенные в неоспоримом преимуществе своих винтовок и автоматов, даже и представить не могли, что, оказывается, оружие не всегда в России их сможет выручить. Бывали случаи, когда исход противостояния приходилось решать лицом к лицу, в рукопашных схватках. Наши сразу вызнали в таких боях со стороны немцев явную слабину и сами лезли на рожон.

Немцы же по своей воле никогда не кидались в рукопашный, боялись его смертельно. Для них вообще драться врукопашную являлось не меньшей неожидан-

ностью — которая, кстати, сильнее поубавила их арийскую спесь, чем упорное сопротивление, с которым они столкнулись, перейдя границы Советского Союза. Меж них даже поговорка прижилась: кто в рукопашной с русскими не дрался, тот и войны-то вовсе не видал.

А в то утро припала Алена к Васиной спине губами да так и не могла отпустить. Все целовала, каждый шрамик, каждую шероховатинку и ямочку на любимом. А слезы текли и текли... Может, со временем и исчезли бы те застарелые раны, исцелились бы, орошенные ее слезами, но не успелось...

Собрали Васины руки-ноги в слаженный дедом Ерохой небольшой деревянный гробик — особо и собирать-то было нечего, — и все его шрамы, все те его раны, что вырубил, вырезала, выжгла каленым железом на его теле и в его душе война, ушли с ним глубоко подземь.

Правда, ордена и медали Алена у сынов все ж таки отобрала. Завернула в чистую тряпицу, пристроила за Георгия Победоносца, на Божничку, значит. Им же, сынам, на память...

Вася может быть спокоен: она о нем помнит... и сыны помнят... и внуки о нем знают. И род его с тем взрывом не оборвался, звон сколь народу по свету от него разошлось! И еще будут, как не быть-то? До скончания веку быть!

И двум звездам в память о нем (одной — на могильной плите, другой — на третьем сверху венце избы) сиять и не гаснуть, как не гаснут в сердце Аленином думки о нем, любимом.

20

Как бы ни хотелось, не выкинешь из жизни ни тех четырех зачеловечных лет, ни первых послевоенных. Не смахнешь их тряпкой, будто со стола крошки. И всей тяготы послевоенной разрухи не смахнешь... Но все же... все же, когда Алена Тарасовна оглядывается на прожитую жизнь, вопреки всем страданиям ей припоминается по большей части хорошее. А оно, это хорошее, все самое радостное, самое дорогое, как ни крути, приросло к душе намертво и толстенной, возовой, конопляной веревкой, тугим — до последнего, остатного вздоха не развязать — узлом притянуто к каждодневной — от зари до зари — заботе о земле, об уходящей в нее уже по самые оконушки избе, о невеликом вдвоем подворье.

Но самое заглавное из всего хорошего, что с Аленой случилось в ее долгой жизни, что Господь дозволил испытать, сокровенно нежное и ласковое, от чего при одной мысли душа ее умягчается, будто доброе праздничное тесто, от чего дыхание перехватывает, точь-в-точь как бывает, когда на Крещение в родник Святителя Сергия окунаешься — и ознобо, и в жар кидает, а счастливо, — так это, конечно, неподвластное никаким описаниям чувство материнской радости.

Двое их, деток-то, у Алены Тарасовны. Может, кто скажет: ишь, мол, чем удивила, не в редкую стежку и шестерку товарки ее поднимали. Коли посчастливилось, да случилось бы прижить с Васей столько-то, а и она бы сдружила! Как не обихаживать, коли все свои, все родненькие?

Ну коли об этом речь зашла, так если уж доточно сказать, соседские, Матренины старшенькие, Колька с Настенкой тоже под ее приглядом возрастали. Малышню, погодок Кирию с Глашей, после Матрениного ареста подобрали в детдом — как-никак, десятку ей тогда вlepили, да и сгилла она, говорят, половины срока не протянув — сосной на лесповале пришибло, — как им, бедолажкам, жить? А эти, уж смышленные, уперлись — ни в какую! До трех раз домой сбежали, покуда, наконец-таки, махнули на них рукой: мол, так и быть, и оставили на попечение

колхоза. Колька — тринадцатый, Настюшке — и того меньше, только одиннадцатый пошел. Время-то какое было! У колхоза работы круглый год — невпроворот, да еще разруха какая! Детвора и своя у баб — за покидместо, не до Матрениных сирот...

Жили они в соседях. Ну какое сердце должно быть у Алены, чтобы, наварив своим чугунок похлебки ли, картох ли, знать, что Матрениных ветром шатает.

Колька, правда, чтоб не ходить побираться, на лето пристроился в помощники к пастуху. Люди наши по натуре жалостливые, покуда вдоль деревни пройдет — кто ломоть хлебца в карман сунет, кто еще чего.

И зимой тоже без дела не сидел: люди воды натаскает, кому дров нарубит, глядишь, какой кусок и перепадет. Так и кормились с сестренкой.

Как пожалеть в таком разе Алене для сирот похлебки? А постирать, а приглядеть в учебе? Настена, так та и поныне мамкой ее кличет. У самой-то Алены пацаны потом народились, а тут — девчонка. Все-то, бывало, к Алене льнет... ласковая такая. Все рядом норовит. Так и можно понять — десяти годочков осталась без мамыньки... был бы хотя бы уж батька, но и Петра война не пощадила.

Проносила Алена сквозь дыру в плетне — напрямки, значит, — с полгода туда-сюда соседской детворе чугунок, а потом и вовсе пригребла их в свою хату.

Нет, нахлебниками, дармоедами она их никогда не считала, да и по сей день не считает. Мамка была у них работающая, под стать ей и ребята, нечего зазря хаять. Никогда на шее у Алены они не сидели. Колька было даже учебу забросил: мол, мужик я или кто? И только после крутого разговора с Аленой — даже поркой припугнула, чего «ни в жисть» не было, — заново сыскал закинутые на чердак книжки. Да и Настенка всегда была ей помощницей: как дети пошли, пока она в поле, и за Никиткой с Андрюшкой приглядит, и пару грядок на бакше выполет.

Выросли... Семьями обзавелись... Вот бы мать сейчас порадовалась, какие у нее ребята случились. И младших разыскали, знают, роднятся... Жаль, правда, в колхозе никто из них не осел. А так — все четверо выучились, мальчишки оба-два в слесарях, при заводе, значит. И девчонки при деле пристроились, балды зазря не бьют, от дела не лыняют, пошли по швейному. До работы жадные: так, видать, в роду их заведено, хотя... есть — какой уж тут секрет? — есть... пусть малая, а все ж таки есть в том, что не говори, и Алена заслуга.

Дети — они, хоть как подойди, — дети, свои ли, чужие... А коли еще и в беде?.. Так что Матрена, коли сведет их Боженька в Царствии Небесном, спросит про свою ребятню, не должна на Алену по-соседски обижаться.

Видать, и Колька с Настюшкой на нее не в обиде. Письма пишут, не забывают ее приемыши. Вот только неделю назад посылку почтарька принесла. От Насти. Крышку-то с ящика старушка откинула, а там! Парочка, темненькая, по ее годикам, да шерстяная! Кофта с юбкой. Век такой не нашивала Алена Тарасовна. Прибрала в сундук, от моли, от всякого-разного шашалу свежую веточку полыни поверх них положила. А чего такую красоту по подворью — за ворота ведь старушка, почитай, лет пять не выбирается, за каким же делом тогда костюм Настенин мызгать? Решила приберечь к важному событию — к Господу в них не стыдно явиться. Оно понятно: ему ее наряды эти бабские ни к чему. Но иного серьезного дела в ближайшее время у старушки, вроде, не намечается.

Да... Жила Алена со своей четверкой — не сказать, чтоб шикавала. А кто по той поре шикавал-то? Но, с какого боку не подойди, а все ж таки одной, без мужика поставить на ноги четверку, каждому вправить, куда положено, мозги, проследить, чтобы руки от нужного места росли — это не фунт изюма. Одной одежи-обутки, ну-ка, припаси! И за столом опять же — пять ртов.

Конечно, кабы не бакша, куда там!.. Она, кормилица, хоть конфеты-жамки не

родила, но лямку свою таянула по совести. Правда, бывало по-разному. Год на год не приходилось, когда уродит поболее картох, когда бураку, когда того и другого — от души, а бывало, что и шиш с маслом.

Тогда затыгивай Алена на «кухвайке» Васин ремень на все остальные дырочки, да иди пошвыдче трудодни в колхозе зарабатывать. Только на них и надежда, может, по ним чего обломится: той же картохи, того же бурака, того же хлебушка.

Одним словом, все лучше, когда ты из нутра сам по себе не ленивый. Или мать-отец успели, коли такой хворобой сызмалу баловался, хорошо, если они озаботились да из тебя эту дурь, покуда еще без штанов ходил, березовой кашей-то повыдурили.

Четверку вырастить, чего только не припомнишь, чего только с ними не случалось!

Вот был как-то случай с самым младшеньким, с Андрюшкой. Чтоб не лындали, уходя на ток или в покос, Алена, как заядлый бригадир, распределяла меж детворой заботы по усадьбе: кому нынче лук-моркву полоть, кому за клушей следить — повадилась тоже, настырная, цыплят за бакшу в хлеба уводить, прилучит, ох прилучит их тамotka лиса, всех до единого положит. Насте — наряд особый, по дому прибраться, белье на запруде располоскать — Алена еще до свету отстиралась.

В тот день дома были Андрейка да Настя. Колька пас с дедом Гром Громычем в Закамнях на молодой отаве коров. Никитку откомандировали в сельпо: соль подъе-лать, спички извелись, огня в печи не развести, хоть трутовиком поджигай.

Андрейка — годов шести, кажется, тогда был. Окучив, сколько ему на нынче отвели гряд, не сказавшись Настене, прихватил из-под повети свои припрятанные удочки и айда на рыбалку, покуда Настюшка еще какой дели не сыскала.

Она покомандовать Андрейкой любит. Дай только волю! И сама без дела не сидит, и ему не позволяет. Вроде все переработали, ан нетушки! Усядется Настя вязенки к зиме вязать, а ты — на ж тебе! — клубок ей держи. Ай он с углами? Сам по крыльцу кататься не может?

Хитрит Настена, держит Андрейку на ниточке, точь-в-точь как Полкана на цепи. И не сбежишь, варежки позарез нужны — зимой руки на горке еще как мерзнут. А вяжет Настя ме-едленно, и не потому, что недавно выучилась, просто чтобы подольше Андрюшку никуда не отпустить. Но все ее хитрости для мальчишки были всегда шиты, а точнее, вязаны белыми нитками.

А вообще-то улизнул Андрюшка не за-ради гулянки. Завтра у мамки именины. Не приведи как нужен подарок, прям-таки позарез. Аленке проще — носки для нее еще когда-когда свостожила. Никитка, тот свой подарок держит в секрете. Кольке проще всех — набрал на пастьбе пучок земляники — и голову ломать не надо. А у Андрейки прямо беда с этим подарком. И зачем они нужны, эти именины? Только голову морочить с ними. А все Настена-зачинщица: «Давайте маме праздник устроим! Давайте подарки стготовим!»

Семка Филин вчера, как за щавелем ходили, рассказывал: цельную низку карасей из торфяных ям за каких-то два часа натаскал. Он наловил, а Андрейка чем хуже?

Эта его рыбалка не только их семейству, но и всем деревенским помнилась до-олго! А все крючок непутевый! Видать, дед Кит их какие-то неправильные ладит. Карасей в тех ямах Верхнедолных на дух не видать, ни одногошеньки не попалось, хоть просидел Андрюшка в валерьянниках с полудня до самой вечерней зари.

И уж было домой неудачливый рыбак засобирался, как леший его подзадорил: дай, думает, закину в последний раз, чем черт не шутит? Ну и закинул. А крючок возьми да за что-то — в яминах вода коричневая, не разглядеть, — вот он, малюсенький, возьми да к какой-то коряжине и прицепись. Плавать Андрейка еще не

выучился, дерг-подерг удочкой. Не тут-то было: накрепко держит коряжина, а может, даже сам лешак, Андрейкин крючок.

Можно было, конечно, бросить его, заразу, да уж больно достался он мальчишке дорого: корзинку подзавяз подобабков пришлось деду Киту в березняке набрать. Жадюга-старикан дешевле ни за какие коврижки крючок ладить не станет, сколько ни упрашивай.

Свезло так свезло тогда Андрюшке! Если бы мимо тех копаней Колька не прогонял на вечернюю дойку стадо, так бы никто и не знал, куда запропал мальчишка. Земь вокруг ямины торфянистая, приболоченная. Вот он возьми да и ошмыгнись. Да... кабы не случайный случай, не подвернись Колька!..

То ли от перенесенного страху, то ли просто застудился, вода ведь в торфяниках не ахти какая теплая, ночь напролет пробредил мальчишка в огненном жару, а на другой день и вовсе слег.

Дети болеют часто. Можно бы об этом не вспоминать, сколько тех хворобин у Алениных ребятишек было — одна за другой, как гольцов в Желтом, не сосчитать. Но случай этот с Андрейкой чуть было под корень не изменил Аленину судьбу. Как ей о том позабыть?

21

Ну, так по порядку. И надо бы зайти чуть раньше.

А раньше-то Аленка, с довоенной поры, когда еще под штапельной ее кофтенкой на груди и бугорочков не проглядывалось, глянулась Петру Звягину.

«Титьки что? — размышлял Петька. — Эти дела у их сестры без дрожжей подымаются, нынче — прыщ прыщом, оглянуться не успеешь, а уж через годок другой и выладнится девка, и в грудях все, как положено: если Господь расщедрит — два капустных кочана, а если попрिдержит, в полмеры по какой причине отмерит, то и тут неплохо, потом ведь все одно разбабится».

Но Петро — парень уже взрослый, за ручку с малолеткой ходить какой ему с того резон? Видать, новый добротный двор и Свиридрихина покладистость в делах амурных перетянули чашку весов. И хотя попытки «захомутать» Аленку были у него еще не один, да и не два раза, Петька все же решил отступить от неподатливой гурьевской девчонки.

Но в оккупацию, при немце, на Аленин счет он опять интерес заимел. Может, надеялся, как не пеняли ему односельчане: мол, позорные твои бельмы, не устыдился, с кем дружбу-то свел? Может, побластилось Петьке, что теперь он при власти, вдруг оголодавшая девка на его паек клюнет, вдруг да все ж таки позарится?

Ан нет, побрезговала Аленка фашистским прикормом. И раньше-то был ей Петро не по сердцу, а теперь, когда в паре с Толькой Прошкиным на глазах у всей деревни на побегушках у фрицев крутился — и вовсе. Те, подлюги, сладив у комендатуры виселицу, лишили жизни Аленину подружку Лиду Сарычеву вместе с дедом ее Федотом.

Все нутро в Аленке закипало при одном только упоминании о Петьке. Да иначе и быть не могло. Это кому сказать только, какие они с Толькой гниды! Каждый в Маланичах знал — знал, да язык за зубами держал, что у старика Федота ховаются два красноармейца. Вся деревня молчала, а они, прихвостни, все-таки не стерпели, донесли.

В тот день, когда немцы наших из деревни выбивали, взрывом разнесло у Сарычевых хлев. Корова, ясное дело, от безумия зафордыбачила. Взревела, взмычала, хвост кверху, понесла вдоль Маланичей и скрылась из виду.

Дед Федот еще за год до войны сел на ноги, а жили они с внучкой вдвоем, при-

шлось Лиде в поисках ошалевшей скотины все маланчиские закрайки обежать. Манюню не сыскала, видать, ктой-то в неразберихе — громыхало-то, громыхало! — попользовался кормилицей, зато под вечер, когда уж и ног под собой не чуяла, проходя мимо Сырого овражка, девушка натолкнулась на четверых наших бойцов, рядом — развороченная пушка. Скорее всего, прикрывали отступление своих товарищей.

Над теми, у которых и ликов не рассмотреть, уж и мухи начинали зундеть. Первый, совсем молоденький, которому задело живот, лежал обочь обгорелых, вывороченных тальников, видать, взрывом отбросило. Этот даже не стонал, устался в кроны верб и только перебирал пыльными, потрескавшимися губами.

Пытаясь разобрать его думки, Лида приклонила к зеленому от страданий лицу свое ухо, но даже так не сумела расслышать его шепота.

А другой, с разорванной, даже жутко смотреть, ногой, сидел, прислонившись спиной к глинистому откосу в глубине оврага. Он, то забывался до немоты, то принимался несвязно сам с собой разговаривать, то вдруг ни с того ни с сего, отдышавшись в забвении, снова спохватывался и орал из последней мочи, приказывая своему уже не существующему расчету, перезаряжать оружие. Хоть в званиях Лида совершенно не разбиралась, но и она смекнула: по всей видимости, командир.

Немцев в деревне еще не было. Но Маланичи в предчувствии неминуемой беды, в ожидании супостата уже вымерли. На улицах — ни души, даже собаки, чувствуя настрой хозяев, и те не гамкали.

Лида сбегала за подмогой. И, погрузив солдат на ручную тележку — последних колхозных коней забрали на нужды отступающих, а на ходы⁴ уложили тяжело раненых, — вдвоем с Аленой они с горем пополам дотащили по выбитому проселку полуживых красноармейцев в Федотову избу.

Молодой маланичский фельдшер Илья Андреич, давно рвавшийся на фронт, наконец, ушел вместе с отступающими, уболтал-таки их командира: мол, бои кровопролитные, в лазарете не справляются, рук не хватает, и он будет им в подспорье.

После его ухода спасать от хворей — ран ли военных, поносов ли детских — на пять рожениц и старых стариков осталась лишь одна выручалка — лекарка бабка Мотя. Ее и привели.

Неделю бабка сиднем просидела около слаженного специально про раненых топчана. Поначалу она осмотрелась, наказала Лиде смотаться к ней в избу, пошебаршить в чулане, принести тот-то и то-то.

Затопили печь, нагрели воды. Со стонами — только уважая деда Федота и бабку Мотю, ребята проглатывали из-за боли матюги, — но их все ж таки, как смогли, наконец, обмыли, обтерли, покопавшись в сундуке, переодели в дедовы чистые рубахи, и те вроде стали походить на живых.

Потом, чтоб уже навовсе привести в чувство, Мотя еще две недели при дневном свете плевала, шептала, окуривала военных да и самого Федота вместе с его избой можжевелевым духом, поила какой-то горчучей преполынной дрянью, а на все ночи напролет вставала на колени у Божницы.

И вроде у нее получилось, вроде зеленушность с лица командира спала. Волоком, волоком ногу, а все ж таки стал на своих двоих выбираться он до ветру. Пошел на поправку и молоденький его подчиненный.

Имена тех служивых отчетливо врезались в память Алены, бывало, каждый Божий день с утраца, а то и по вечерней заре, навевывавшейся справиться о здоровье красноармейцев. Командира, лейтенанта, как сейчас помнит Алена Тарасовна, звали Иван, Иван Костров, а парнишку веснушчатого — Леха Кречетов...

⁴ Ход — телега.

Глядишь, может, и пуля их больше не коснулась, может, и снаряд бы облетел стороной, а там и до Победы бы дошагали. Разъехались бы с того Берлину, один в свой Тамбов, другой на Вологодчину к своим семьям, где все глазоньки по ним проглядели, где уже и не ведали, какими молитвами их у смерти вымолить.

Где же был в ту пору Господь, по каким-таким наиважнейшим делам от пригляду за своим миром отлучился, — не раз потом в своей жизни убивалась над гибелью почти спасенных ими с Лидой, почти выхоженных бабкой Мотей бойцов Алена Тарасовна, — и на кого Он только в тот день переложил свое внимание?

Вспомнит, бывало, она, как, привязав веревками к танку, волочили их фрицы по первопутку вдоль всех Маланичей, так душа ее и захоливается. Так и запрости кары небесной для сдавшего их фашистам недавнего своего ухажера и обожаемого Петьки Звягина.

Мало ему! Мало ему, душегубу, дали десятку за таковские дела его, надо бы, хоть и не велит Господь око за око, но с такими только так, чтоб впредь не повадно было, самого на той-то веревке вздернуть. А то ишь ты! Отсидел, вернулся и разгуливает вдоль Маланичей ничем-ничуть не совестясь: искупил, мол... Он-то отсидел... а молодых ребят-то нету... Не народились ни дети от них, ни внуки... А каково их матерям?..

Но хоть ее Господь от Петьки уберег, не дал-таки в обиду. А, бывало-то, Зинаида Звягина, мать его, зная, что сын по гурьевской девке сохнет, все привечала Аленку, все «невестушкой» своей называла. Страшно становится Алене Тарасовне от одной мысли: что как сошлась бы с этим иродом?

22

Всякие-разные женихались к Аленке. Но ни для кого, как для Васи, майским широким цветастым половодьем так и не заиграло ее сердце. Разве что для Ильи Андреича?.. Да о чем теперь говорить-то? Может, и разбутонилась было ее душечка за-ради Илюши, может, и обнадеялось ее вдове надтреснутое сердечушко на малюсенький кусочек счастья, только ведь испокон не напрасно толкуют, не раз ведь испытано, что на чужом горе свое гнездо-счастье не выют.

Говорить-то говорят... Убеждают, упреждают, только человек, видно, так слаб: покуда сам шишек не насбивает, на чужие и внимания-то не обратит. Мол, у него-то уж точно получится, ему-то наверняка должно повезти. А не брать в ум, не опереться на искверканность чужих судеб — напрасно. По одним Божиим дорогам ходим, об одни горшки обжигаемся.

Илья вернулся в Маланичи вскорости после гибели Василия, месяца через два. Уже никто и не ожидал, не надеялся. Порешили: сгиб парень. Сколько их тогда осталось лежать по чужим землям! Но он все-таки вернулся. Как потом рассказывал, успел повоевать и с японцами. Задержался в тех дальневосточных краях, думал было осесть, да потянуло в родные места.

Уходил фельдшер на фронт пацан-пацаном, первый год после учебы. А вернулся возмужавший и в плечах, кажется, раздался, да и ростом вымахал. Одним словом, самый мужик.

Только вот посуровел. И в глазах вместо задорных бесенят, которыми сводил, бывало, с ума маланичских девчонок, таилась неизбывная печаль. Видно, прошедшему войну капитану выдалось повидать такое, что тем девчонкам и в самых кошмарных снах не снилось. При встрече, стараясь ненароком не задеть Илью за живое, истомившиеся по мужской ласке молодые вдовы бабы и девчонки даже не пытались затевать с ним прежних шуры-муристых подшкеливаний.

Как заступила на пост заведовать медициной в Маланичах престарелая баба Мотя с уходом Ильи Андреича на войну, так продолжала и до самого его возвра-

щения. То-то ей было радости! Наконец-таки и ей послабление вышло — передала дела свои хворобные из рук в руки, как и положено, фельдшеру.

Хоть и привыкла Алена по большей части обходиться Дарьиными запасами трав, в крайнем случае, для их усиления, призовет, бывало, на подмогу все ту же бабу Мотю, но когда в твоей избе четверка ребятишек, тот, кто испытал, не даст соврать, нет-нет, да кто-нибудь из них все одно занедужит. Порой такой хворобиной, что хоть криком кричи, хоть волосья на себе рви, а ничем-ничегошеньки с той болячкой без лекарств покупных, без врачебного досмотра не справиться.

Так и случилось с самым младшеньким, с Андрейкой. Он вообще был на всяческие напасти горазд. Казалось, они так и ползают за мальчишкой ядовитой гадушкой, так и дожидают, когда удастся в очередной раз подкусить.

И чего только с ним сызмала не приключалось! Ох и нанянькалась же со своим младшеньким Аленка! То наестся вместе с соседским Кузькой дурману, да так, что еле бабка их, глупышей, отходила. То в торфяной яме, помнится, чуть не захлебнулся. То полез за вороньими яйцами на Меркалихины ракирки, гнездовой там — видимо-невидимо, яишню опять все с тем же другом Кузькой Тороповым надумали жарить. Огребал, значит, гнезда да обмишурился, на сухой сук понадеялся, а тот возьми да и хрясь! Мало, шмякнулся в самые репы, не прочесть, обрили — налысо, так еще и ногу, считай, навыворот своротил.

Все с Андрюшкой так или иначе, по большей части, правда, «лагополучно» обходилось. Но в тот раз, когда он уже вторые сутки метался в жару, Аленка не на шутку струхнула и послала Никитку за фельдшером: беги, мол, сынок, пошвыдь, а не то велик у Кузьки спроси, он, говорят, немецкий справил, поезжай за Ильей Андрейчем, скажи: опять наш пострел чегой-то начередил, ни крошки в рот не берет, весь на пот изошел.

От кого уж там Андрюшка подцепил сыпняк, один Господь ведает, только на этот раз и правда дело было плохо. Маланичи вроде эта напасть обошла стороной, помиловала. Алена могла лишь догадываться, где сумела прилипиться к сыну эта зараза. Несколько дней квартировались на старых колхозных фермах пленные немцы. Видать, от них. Гнали их, порушенных, в область. По слухам, там они поднимали из развалин ими же разбитый железнодорожный вокзал.

Тогда не раз бегал Андрюшка поглазеть на «хрицев». Те, видать, соскучившись по оставленным в Германии семьям, рады были общению с ребятишками. Из подручного материала мастерили для них всяческие простецкие игрушки в обмен на картофелину, яблоко, ломтик хлеба.

С тифом шутки плохи, за болезным — глаз да глаз. Поначалу Илья Андрейч приходил в Аленину избу по два раза на дню, потом и вовсе зачестил: мол, Андрейка пошел на поправку, теперь бы доглядеть, не упустить, чтобы вспышка не повторилась.

Так и пробил Илья тропку к Алениной избе. Поставив мальчишку на ноги, уже совершенно без повода продолжал и продолжал заглядывать. Видно, крепко накрепко притянулась у него душа к молодой вдовице. И с глаз его начала омываться печаль, даже повеселел. И ребятишек, считай, за своих принял.

Потянулось было и Аленино сердечушко к красавцу фронтовику. Запоздает ненароком, не явится фельдшер в обычный час, уж и душа у бабы — в кои-то веки! — не на месте: а ну как другую приметил? Баб сейчас, охочих до такого мужика, эвон сколь сыщется... а он каждый день на людях, не одна, так другая прилипнет.

«Да что ж мне с ним делать? Ажни сердце падает! Любая-каждая в Маланичах приняла бы за честь внимание такого завидного ухажера, — раскидывала умом тогда Алена, — так чего ж тебе-то вдовой да с довеском в четыре рта кобызиться? Потом ведь близок будет локоть, да уже не укусишь!»

Но дело даже не в том, что Илья нравился другим. Главное, что ее сердце не

отвергало его, и, кажется, вопреки отчаянию, охватившему ее после смерти мужа, вопреки твердой уверенности, что другого такого родного, такого близкого мужа не встретить, вопреки всему этому, она почти уверилась, что сердце ее способно вновь полюбить и распахнуться навстречу счастью.

Но случилось то, что случилось. На все воля Божья. Может... да нет, конечно, все случилось к лучшему... по крайней мере, в судьбе Ильи Андреича.

Уж и таится от чужих глаз они перестали — все одно ведь в деревне от чужих глаз не скроешься, все, как есть, друг перед дружкой, как на ладони. Уж и на ночь Илья стал оставаться у Алены. Порешили: колхоз подымет ему избу — на другом конце Маланичей сруб заложили, и к Успенью пятидесятого Илья Андреич должен был войти в свою новую пятистенку. С Аленой и ее детворой. Новый председатель волновался: «Ну как переманит какое другое хозяйство фельдшера? А им без медицины никак нельзя, бабка Мотя, Царство ей Небесное, как ни тужилась до веку дотянуть, пяти ден не осилила, преставилась. Так что кровь из носу, а фельдшера в Маланичах надо удержать». Но не случилось.

Только когда почтарька принесла письмо из какого-то неведомого Алене до той поры, но запавшего в ее душу на всю остатнюю жизнь небольшого городка Бежецка — это где-то, как узнала она потом, аж под Тверью, — только тогда стало ясно, по какой причине у возвратившегося с войны Ильи была на сердце такая гнетущая печаль.

А дело-то самое что ни на есть простое, жизненное. Не он первый, не он последний... Война непредсказуема!.. Что хотела, то с людьми и творила. Кого сводила на своих дорогах, кого на веки разводила. Нет... Это хорошо, что Илье, пусть не сразу, а все-таки повезло...

Военфельдшер Илья Чекмарев служил в полевом госпитале на Южном фронте, когда первая танковая армия врага, соединившись со своей шестой армией, двадцать третьего мая сорок второго взяла в кольцо две советские армии: шестую и, вдобавок ей, пятьдесят седьмую, которая вела тяжелейшие бои на самой дальней оконечности Барвенковского выступа.

Во время прорыва из всего госпиталя уцелели только он да вытацившая его из поляма медсестричка Раечка Гаврюшина. Потом было назначение в другой госпиталь. И он упросил начальство, чтобы их отправили вместе. Беда сближает людей, кому, как не Алене, пережившей оккупацию, этого не понимать?

И она не ошибалась. Илья был поначалу очень благодарен, а спустя время и вовсе ему стала невероятно дорога эта — и росточку-то — метр с кепкой, — а спасая его, здорового парня, сестричка.

Любовь, она не спрашивается, где ей случиться. А на войне уж, ясное дело, когда бесценна каждая минута жизни, еще острее хочется тепла, хочется счастья и жизни, жизни, жизни!

На пятом месяце, когда беременность уже невозможно было скрывать, Раечку комиссовали. Но, как сообщили потом Илье, эшелон, в котором она возвращалась домой, разбомбили. Почти никто не остался в живых.

А вскорости и самого капитана тяжело ранили. Провалившись в тыловом госпитале почти три месяца, он попал в другую часть, и след его затерялся меж фронтов.

Раечка же, добравшись, наконец, до своей бежецкой бабушки, — всех остальных ее родичей забрала война, — разрешилась мальчиком. Алена видела карточку: с лица — истый Илья. Пряма-таки его «потретик». Девятый годок уже пошел пацану...

Раечка в надежде, что Илья уцелел, не опускала рук. И куда, и кому она только не писала! И только летом пятидесятого нащупала его след.

А потом это, такое счастливое для Ильи и такое разнесчастное для Алены письмо... Ну как не отпустить?.. Сама ведь мать.

Бывает же такое! Расскажи кто другой, так Алена бы и не поверила. Поводилась ей в последнее время снится — уж и не помнит она: в который раз прикрывал — один и тот же сон. Из той поры, уже далеко послевоенной, когда она вошла в самую красивую бабью пору. Может, после сна этого настырного и стали все чаще — прям-таки белым днем, наяву! — возникать на подворье, перед окнами горницы, странные, удивительные видения.

Раздвинет поутру старушка занавески, обустроится на табуретке у подоконника с гераньками и выглянет из изыяной полудремы, из чисто прибранной горницы на Божий свет полюбоваться. Прищурится, даже очки с отвалившейся дужкой — вместо нее резинка — нацепит. Приладит, значит, она эту резинку за ухо, присмотрится: баба вроде какая на лавке под грушенкой сидит?

По первоначалу-то повидится: Лизка Прохорова на подворье к ней по какому-то хозяйскому делу прибрела. Подумается: ишь ты, молодая совсем, а тожить, покуль на гору нашу, гурьевскую, подымалась, ухайдакалася, передыхивает, дожидается — когда, мол, у Тарасовны свет в горнице пыхнет.

Летом светает скоростижно. Не успела Тарасовна сунуть ноги в мягкое тепло бурок да накинуть какую-нито кофтенку, глядь, уж и голубым-голубо на дворе. Выбралась она по расхалелеянным половицам из сенец на крыльцо, только собралась Лизку-то окликнуть: вот она, мол, я туточки! Ай Костюшка твой опять животиком мается? Погоди, милая, сейчас травку из чулана принесу. Только занесла над прикрылечным камушком ногу, да так и ахнула!

Как тут не остолбенеешь, коли, ничтоже сумняшеся, саму себя в двадцати метрах увидишь?

...Прочитав аж три раза кряду письмо от Никитки, довольная Алена сует листы в карман передника — бабам на прополке почитать, похвалиться. Все вроде у ребят нормально: старший последний экзамен в техникуме сдает — слава Боженьке! — на выпуск сготовился, младший за второй год дела подобьет — и домой, на каникулы.

Алена затворяет избу на палочку, откинув по-хозяйски проволочный хомуток на столбик, раскрывает и калитку. Вешает на черенок тяпки узелок с перекусом, перекидывает через плечо и так, наизготове, усаживается под грушенкой на лавочку дожидать свою полевую бригаду.

Все лето бабы, собираясь внизу, у правления, гомонливым табуном проходят в работы мимо ее избы то на прополку, то в покосы, то, когда зарядят дожди, улучат минутку и айда за грибами, и все мимо Гурьевского двора. Не пройдут молча, покличут товарки и ее, притом обязательно, бывало, подковырнут: «Чтой-то не выходишь, ай ты, Алена Батьковна, нынче не дома ночевала?» — «Может, и не дома, — улыбнется, кинет им Тарасовна в обратку. — Расскажи где, поди, и вам захочется, потому оставлю при себе».

Сидит Алена на подворье, а баб все нет и нет. Словно знают: не надо ее сейчас окликать, пусть посидит хоть чуточку в покое.

Кофточка на ней ситцевая, небесная, в меленькую просяночку, юбка — розанчики по зеленому полю, та, что зимой, «на гулянках», сама себе справила. Косынка беленькая — вповязку. На ногах — обутка обычная — ходоки парусиновые. От пыли прикрыться, чтоб блузка-юбка не шибко муслякались, — обористый, с высокой грудью, передник. А как без него, без передника-то? Коли щавель в Груниной лощине попадется, а коли на маслята-свинухи в Куманевом леску набредешь? Да без него, фартука-то, без его большущего кармана некуда будет при-

строить ни гарбузных, ни конопельных семушек. Нет, фаргук ли, передник, назови, как хошь, а только вещица эта в бабской жизни наипервейшая! Без него, наиважнейшего, что ни говори, в хозяйстве как без рук.

От обветренной, загорелой полевыми ветрами и солнцами Алены еще тянет недавно процеженным парным. Уложенные в тугую корону волосы пахнут отваром донника. К подолу юбки прилип — ни в какой протоке не отполоскать, никаким вальком ни отколотить — дух молодого «картовного» цвета и вошедшего в сочность свекольника.

В узелке — пара яиц и еще теплый ломтик хлебушка. Раз в неделю, это уж еще как от бабы Дарьи повелось, нарушать Алена не нарушала, ставит она старую, дедом Силой слаженную дежку, заводит ржаной. Нет, в селпо хлеб завозят. Но разве ж это хлеб?

Вот и сегодня поднялась Алена, еще и петухи на насестах дремали. Перекрестилась на Божницу, с годами стала она все яснее в лике Казанской находить схожесть с лицом бабы Дарьи. Или ей просто так хотелось?..

До колхозной работы уже успела и со скотиной управиться, и у печи нахлопотаться — эвон какие ковриги в сенцах под полотенцем доходят — любо-дорого! Отломил корочку на пробу — никаких покупных «аблеманов» не нужно. До сих пор во рту чуть кисловатый, ни с чем другим не спутаешь, вкус ситного...

Может, нынче все разом проспали? Не идут и не идут ее товарки. Ай все пайки повыполולי? Не привыкшая к безделью Алена вдруг спохватывается: «Слава Богу, не успела уйти, — спешит в сенцы, потом обратно, вывешивает вдоль горожи на ореховые, вымытые временем и дождями до белой белизны колья на жарку тройку кубанов и еще пахнущую тестом дежку.

Довольная, что «Господь все ж таки надоумил», Алена снова усаживается под грушенку. Тут же, еще и усы от молока не облизавши, у ног обустроивается ее дымчатая Цапа и принимается, повернув мордочку к калитке, умываться. «Ты ж моя разумница! Все-то ты знаешь! Приедут, скоро приедут твои любимцы! Потерпи недельку-другую! Опять будешь с Никиткой спать на сеновале. А Андрюшка — это уж как пить дать — натаскает тебе с Желтого самых жирнющих гольцов...»

Хуже дела нет, чем ждать да дожидаться! Терпелка у Алены, хоть и проверено, не из соломы она у бабы сплетена, но все ж таки обрывается, и Алена, стряхнув с фартука конопельную шелуху и прихватив тяпку, спроваживается за калитку. И то верно: отсюда виднее.

Вытоптаный до мозолей суглинистый проселок — виль, виль из-под ее ног мимо усадеб, сползает в низину. А отсюда, с самой верхней точки Почуй-горы, все Маланичи как на ладони. Еще раным-рано, но деревня уже проснулась. Во-он издали мураши мурашами, все ж таки вышли в работы, приближаются бабы. Не разобрать еще ни лиц, ни одежды, слышно только, как о чем-то снова на всю округу «кудахчут» — может, опять Витьку Крупышина делают, ишь как подняли тарарам, Маруська с Катькой. Ох, девки, девки, — стыдоба-а! — пропадете вы с этой своей любовью не за денежку! Ай вы про то еще не ведаете, что он вчера к Галинке, товарке вашей, сватов засылал? И вроде сговорились... Толкуй, не толкуй им, настырным — все одно как об стенку горох!

Воздухи — сама жизнь! А там, над излучиной Кромы, заря-то, заря как разродилась! Уму непостижимо, как разнебесилась, ого-го-го какая просторная, не обнять! И земля ей под стать — даже с высоченного гурьевского угора мыслью не окинуть!

Переведешь взгляд поближе, луговинка через дорогу весело так на Алenu посмотрит. Гладенькая, ровная, заросла сочной, свежей отавой. Природа изнывает от избытка жизни. словно дала подписку не попустить на себе больше никаких раздраев, никаких, даже самых малых, войн.

Вон уже и пчелы деда Пушая скоропалительно шныряют. Стрела стрелой! Видать, расчапали, проныры, — за Гривастой лощиной гречиха кипенем кипит. Вторая бригада нынче там, в лощине, копнит. Дай-то Бог до Ильина дня с покосом управиться! А то рассопливаются верхи, жалко будет, травы-то нынче — невпроворот.

А с бакши тянет укропом, поспевающим подсолнухом, осыпанным синими-пресиними звездами переростухом-огуречником. В своей лепной хатенке чивиликают под поветью подросшие ласточата. Толстозадые шмели копошатся в только что раскрывшихся венчиках повилик. Кузнечики вот-вот заиграют. Цапка вспрыгнула позыбаться на слаженные обочь соседских ворот веревочные, со старой фуфайкой вместо сиденья, качели.

И так-то хорошо! Даже про Хас-Булата затянуть хочется. Так-то отрадно Аленой всклень наполненной душечке! Так и млеет она, так и светится от безмерной теплоты и ласки ко всему родному. К этой, шутка сказать какой старозаветной, еще дедом Силой Леонтичем поставленной избе, к лелеянной-перелелеянной Алениным родом стародавней бакше, к тем в березовых дымках далям, к восторженному коготу гусей у ручейной запруды, к приближающимся наконец к гурьевскому двору языкастым ее товаркам.

Алена прикрывает калитку и присоединяется к гомонливой толпе маланических баб.

«Иди, девонька, иди! Сколько таких, как седня, ситцевых рассветов у тебя еще впереди!» — крестит вослед ее старушка.

